

18.091К→

# ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

3

ОГИЗ - ИВГИЗ - 1939

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

23/12/82

3 ТМО

Т. 1 млн. 3. 212-78





СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

18 г. № 181  
Ташкент. ГБУ



✓  
✓

# ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ТРЕТЬЯ

94



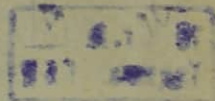
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1939

-- 2010

Sp. 18.091

И-22



43

В. ПОЛТОРАЦКИЙ

## ЛЕТО

Повесть

Нас трое.

Весной, едва сошел с полей снег и просохли, дороги, мы покинули город, — и уже третий месяц наш фургон ездит из колхоза в колхоз. Везде нам рады, везде встречают нас как старых знакомых. Да мы и в самом деле знакомые, — ведь во многих местах удалось побывать по нескольку раз...

Я люблю свою профессию, и мне бывает приятно, когда на простом полотняном экране оживают яркие картины жизни, когда перед зрителями открываются волнения человеческой души.

После сеанса люди расходятся по домам, унося в себе порою радость, порою печаль, — в зависимости от сюжета картины. Я смотрю на них и думаю: мы привезли им эти чувства!

Наши поездки по селам так похожи на полную неожиданных впечатлений киноленту, и вот я вспоминаю эпизоды и кадры из нее...

### 1

Желтая змеистая дорога ползет по холмам, по лощинам. Вокруг широко развернулись поля, а над ними висит добела раскаленное небо. Но вот вдалеке блеснула река, зеленеют сады Новоселья.

Древними старожилками стоят на краю села седые, косматые ветлы. За ними, за частой порослью бузины, на привольной равнине раскинулся сад. Среди молоденьких яблонь и вишенника в несколько рядов стоят улы.

Едва мы въезжаем в село, сбегаются ребятишки и веселой толпой окружают наш фургон, пестро разукрашенный афишами. Ребята возбуждены и радостны. Еще бы:

— Кино приехало! Картину будут казать!

Мы останавливаем машину неподалеку от сада, возле школы. И вот уже Андрей Ноговицын, наш киномеханик, начинает прилаживать передвижной аппарат. Я и шофер Николай Строев помогаем ему в этом. А зрители, собравшиеся в почтительном отдалении, следят за приготовлениями к сеансу.

С пчельника пришел Евсей Махов. Мы знакомы с ним по прежним посещениям Новоселья. У этого старика удивительно молодые глаза и румяные щеки, хотя он совершенно седой.

— Где же вы натянете полотно? — спрашивает Евсей.

— На ветлах можно, — предлагает кто-то, не дожидаясь нашего ответа.

Андрей оглядывается, щурит глаза и веско подтверждает:

— Можно и на ветлах. В помещении жарко.

— А что я у вас, ребята, спрошу, — подвигается Евсей. — Скажем, битву снимают — по-настоящему или как?..

Андрей откладывает инструменты, вынимает папиросы. Он готов рассказать. Прошлой осенью Андрей держал экзамен в институт кинематографии, — не выдержал, но все-таки считает себя сведущим во всех вопросах кино.

Он закуривает, чтобы выдержать паузу, потом говорит:

— Это, папаша, интересная вещь. Битва бывает такая, что, например, летом на озере появляется лед.

— Ай-ай-ай! — удивленно качает головой Евсей, но видно, что он еще не верит этому.

— Но все зависит от оператора, — продолжает механик. — Снимали в прошлом году одну битву, — и режиссер говорит: «Не могу никому доверить, кроме товарища Ноговицына». Идут ко мне: — «Так и так, Андрей Константинович, выручайте». А я в это время по алгебре экзамен готовил. Отвечаю им: «Никак не могу». — «Как же быть, Андрей Константинович?» — «Ничего не могу поделать». — «Три тысячи, говорят, за сеанс». А я им, конечно, отвечаю: — «Не в деньгах дело»...

— Три тысячи? — удивляется Евсей. — Неужели три тысячи?

— А как же, — хвастается Андрей. — Так и не вышла картина.

— Какая же картина-то? — любопытствует кто-то из зрителей.

— Картина? — переспрашивает Ноговицын. — А картина... — он некоторое время молчит, растирая каблуком брошенный на землю окурочок... — а картина эта называлась «Бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно». Вот как она называлась!

Он снова берется за инструменты и сосредоточенно принимается за работу.

С наступлением темноты мы начинаем сеанс. Показываем звуковую: «Депутат Балтики». Зрители сидят тесной толпой. Впереди ребяташки. Они устроились прямо на траве. Взрослые принесли из школы и избы-читальни скамейки.

С какой непосредственной живостью реагируют зрители на действия и поступки героя, как сочувствуют они старому профессору



и как сердятся на нас, если лента вдруг обрывается. А ребяташки даже научились кричать:

— Сапожники, — рамку!

Впрочем, эти выкрики беззлобны. Это только дань традициям...

Андрей стоит у аппарата. Яркий сноп лучей режет синеву августовского вечера. Большая темная бабочка вьется у самого объектива.

— Замучили меня бабочки, — шепчет Андрей. — Смотри, что получается на экране.

И действительно, на экране бабочка проектируется большим прыгающим пятном. Андрей старается прогнать ее, но ему не удается. Впрочем, зрителей мало смущает это пятно. Они целиком захвачены историей борьбы героя...

Но вот сеанс окончен. Помедлив некоторое время, народ начинает расходиться по домам. Завтра рабочий день. Николай с помощью молодых колхозников снимает экран и сматывает электрический провод. А Андрей нарочно громко говорит мне:

— Приучайся работать самостоятельно. Убери аппарат. Сумеешь?

— Конечно, — отвечаю я, и в голосе моем звучит обида: почему он при посторонних сомневается в моей опытности? Разве я не выполняю эту работу раньше?

Андрей, видимо, замечает это и поправляется:

— Я знаю, что сумеешь, ты ведь способный парень. А мне надо пойти...

И совсем уже секретно сообщает:

— Тут во время сеанса одна подмигнула.

И он уходит, молодой, удивительно складный, щеголеватый. Мы с шофером Николаем остаемся одни. К нам подходит старик Махов.

— А чего я у вас, ребята, спрошу, — начинает он. — Вы где, соколы, ночуете?

— Прошлый раз у избача ночевали, — отвечает шофер.

— А пойдете ко мне в сад. Ей-богу. Я сам в саду в шалаше сплю. Любота.

Нам нравится предложение, и, поставив машину во двор школы, мы направляемся в сад. Темные кусты и деревья обступают нас со всех сторон. Уже пахнет яблоками. Этот запах пересиливает все...

В шалаше Евсей зажигает фонарь и дает нам два овчиных полушубка.

— Подкиньте на соломку-то. Мягче будет. — Потом он угощает нас вишней и хвастается: — Хороша. Владимирская...

Вишня действительно хороша, и мы с удовольствием съедаем чуть не половину лукошка спелых ягод.

— Любота с садом-то, — говорит старик. И мы уже знаем, что сейчас он будет рассказывать историю, которую мы слышали несколько раз, потому что ее знают во всем районе.

...Лет семь тому назад на собрании колхоза зашел разговор о саде. Речь шла о том, чтобы возле села, на южном склоне приклязьминской горки разбить фруктовый сад. Соседний питомник обещал выделит полтораста черенков яблонь и около сотни кустов мо-

дого вишенника. Но дело это было непривычным и многим казалось несбыточным.

— Что ж, сад — это можно, — рассуждали они. — Только не сейчас. Пусть ребята подрастут и занимаются.

— Силу-то положишь, а яблоков не попробуешь...

Тогда совершенно неожиданно сторонником садоводства выступил Евсей Махов.

— Хорошо, граждане, будет, — говорил он. — Я, понимаете, у Храповицкого помещика в батраках жил и на сад его посмотрелся... Любота. Ай, какой знаменитый сад был. У него возле Судогды персики вызревали.

— Да ведь не попробуешь, Евсей Егорович. Старо у нас дело-то, в могилу смотрим, — возражали сельчане-ровесники.

— Ну, милый мой, — о чем задумал! О смерти!.. О ней думать не надо, она и так придет. О жизни думать давай.

Евсей Махов со странностями. Очень любит он, по-детски любит эту землю, эту жизнь, розовые зори над Клязьмой. Он тянулся к ней жадно, настойчиво.

Одним из первых вступил он в колхоз, усмотрев в нем людскую радость труда. «Какие мы дела можем повернуть!» — восторгался он. И, никогда не видавший достатка, не вылезавший из нужды, Евсей отдал себя всего колхозному делу. И вот скупая, безрадостно проходившая жизнь на склоне лет вдруг заиграла семицветной радугой счастливого довольства.

Он был мечтателем, заворающимся от малейшей искры... А сад ему представлялся зеленым и ласковым. Весною он будет розовым, цветущим. Розовым, как молодая июньская заря.

— Какая жизнь! Граждане, неужто у вас мысль не постигнет такой красоты? Ведь жизнь-то у нас только начинается, надо бить, цветет только. Колхоз наш заложит сад, глядишь, через годок-другой соседи за нами потянутся. Пройдет этак годков пяток и вся-то округа будет в садах. Идешь, понимаете, по земле, а она — сад.

После долгих обсуждений колхоз вынес решение о закладке сада. Это было сделано не ради восторженности Евсея Махова. Нет, люди уже привыкли мыслить о большом хозяйстве, о завтрашнем дне.

Бригадиром по садоводству единогласно утвердили Евсея. Старик принял это как большую радость. Слово за любимыми внуками, ухаживал он за каждой яблонькой, за каждым кустиком породистой владимирской вишни.

Зимой, по глубокому снегу, он приходил сюда посмотреть — не обглодали ли зайцы молодую кору. Дорогой уставал и несколько раз садился на снег отдохнуть. Он снимал свой старенький малахай и утирал пот клетчатým платком. Придя в сад, он заботливоправлял соломку вокруг яблоневых стволов...

А в конце марта, когда на обтаявших пригорках с криком и гомоном возились грачи, когда в овраге играли ручьи, а теплый полуденный ветер трепал кудри вишенника, — он каждое утро ходил смотреть, как наливаются красноватые почки. По утрам на обледе-

нелых сучьях еще переливалось радугой солнце, но потом, к полудню, над садом поднималась испарина, — и, счастливый, он вдыхал этот запах.

...Через несколько лет сад налился буйными плодоносными соками. Среди деревьев были поставлены ульи, над раскрытыми чашечками цветов звенели пчелы...

Летом Евсей уходит жить в сад. Здесь он лучше чувствует себя. И когда кто-нибудь заглядывает к нему, он начинает хвастаться садом. Вот и нам он долго и восторженно рассказывает о бумажном ранете, о золотой боровинке.

А за садом под ветлами гуляет молодежь. Оттуда к нам доносятся звуки гармошки, девичий смех, и мы различаем голос Андрея Ноговицына. Голос у Андрея высокий, чистый. Девушки, наверное, заглядывают на веселого кинемеханика. А над ними, над косматыми ветлами, распростерлось темносинее небо — все в звездах, в желтых августовских звездах, похожих на спелые яблоки.

— А чего я у вас, ребята, спрошу, — говорит Евсей. Но Коля Строев уже спит, и я молчу, притворяясь спящим.

— Умаялись, — решает старик, — день-то деньской все на солнце да у машины — вот и умаялись.

Несколько минут он еще ворочается на своем старческом ложе, кряхтит и вздыхает, потом я чувствую, что он спит. Засыпаю и я.

Под утро приходит Андрей. Он толкает меня в бок и говорит: — Подвинься, и я тут прилягу. Насилу нашел вас, я думал, что вы у избача.

Андрей ложится рядом со мной и засыпает мгновенно...

Утром мы собираемся уезжать. Шофер уже сходил и заправил машину. Вот он гудками подает нам сигнал: «пора ехать!». Но Андрей еще спит. Я расталкиваю своего механика, он встряхивает заспанной головой и говорит:

— Уже? Собрались в поход?

Потом он выходит из шалаша, и яркое солнце обливает его золотым каскадом лучей. На Андрее белая майка, она ярко оттеняет коричневый загар молодого мускулистого тела.

— Папаша, где бы тут умыться? — спрашивает механик у Евсея, который копошится возле ульев.

— Пройди чуток, — говорит Евсей, — там у нас кран от водопровода устроен.

Андрей идет к крану. Над ним, жужжа, кружатся пчелы. Он отмахивается руками. Старик предупреждающе кричит:

— Не маши, сокол, руками-то, не любит этого пчела. Ты иди смирно.

— А как ужалит?

— Да не ужалит. Ты ее не тронешь, и она тебя в покое оставит. Пчела — она самая безобидная тварь и самая пользительная. Намедни приходит бригадир из Гавриловского и на наши клевера удивляется: «Что это, — говорит, — за клевера у вас удивительные?» А удивительного тут нет ничего — пчел благодарить надо,

они обсеменению способствуют. К тому же сад возьми — одно дело без пчельника, другое дело вот так, как у нас, — яблоков-то чуть не наполовину больше. А вы как о пчеле-то понимали?..

Андрей фыркает, полощется под краном, наконец, он умылся, — и мы готовы в путь.

Евсей провожает нас до ворот.

— Счастливо, — говорит он. — Когда заедете, — прямо ко мне. Золотая боровинка поспеет — слаще меду...

— Счастливо оставаться, папаша, — говорит Андрей.

Мы благодарим старика за ночлег, за угощение и долго машем кепками, прощаясь с приветливым человеком.

## 2

Дорога вьется меж золотистых хлебов, пересекает рощи, ручьи, ползет вдоль зеленых оврагов, поросших дикой смородиной и черемухой. Кое-где встречаются кусты шиповника, на них висят крупные глянцевиые ягоды. На лугах, увенчанных стогами свежего сена, буйно поднимается и блестит изумрудами молодая отава. На необкошенных кочках качаются бледносерые зонтики тмина.

Мы останавливаем машину около овражка, на дне которого течет светлый ручей. Николай хочет подлить в радиатор немного холодной воды. И пока он, взяв ведро, спускается к ручью, я ложусь на траву в тень.

Пахнет медом и мятой. Вокруг тишина. Где-то в кустах закуковала кукушка. В траве неумолчно стрекочут кузнечики, а в голубой вышине гремит песня жаворонка.

Все-таки хороша наша русская природа! Один человек рассказывал мне, как он ездил на юг. Человек этот родился и вырос на Оке, возле Мурома, там же он учительствовал в маленькой сельской школе и никогда не видал моря, гор, цветущих магнолий. В Сочи, куда он приехал, чтоб отдохнуть и поправиться, все это поразило его. Он ходил, очарованный пышностью юга, но потом, когда, возвращаясь домой, он в окно увидел березы, знакомые поля, у него утаенно забилося сердце. Это было не умиление, это — любовь!

Однажды весенней ночью мне случилось итти берегом Клязьмы. Вдоль дороги росли густые кусты шиповника. В них пел соловей. Как он пел! Тысячи колен, тысячи ладов, я никогда еще не слышал ничего подобного и был захвачен этой радостной музыкой страсти.

Над рекою белел туман. Трава была мягкой и влажной от росы. Небо на востоке бледнело, угадывался близкий рассвет...

Николай принес воды, отвинтил крышку радиатора, сделал все, что нужно, и мы уже хотели продолжать свой путь, как услышали крик:

— Ребята, постойте-ка.

Мы оглянулись и увидели аксеновского пастуха. Широкоплечий, высокий, он шел напрямик, через кусты тальника. Мы поздоровались.

— Не к нам? — спросил он.

— Нет, сегодня проедем в Дубовку.

— А то уж я метил стадо пораньше пригнать. Ну, коли нет, так давайте закурим, у вас, небось, папироски есть?

Андрей протянул ему портсигар, и мы закурили, а шофер открыл капот машины и стал что-то подвертывать, прилаживать, потом и он присел с нами на траву.

У пастуха через плечо на ремешке висела брезентовая сумка. Из сумки выглядывала книжка.

— Читаешь? — спросил я, указывая глазами на книжку.

— Нет, — ответил пастух, — пишу.

— Ну? — удивился Андрей. — Неужели сочиняешь?

— Все больше из жизни случаи записываю. Учет веду. Вот, к примеру, сегодняшней день у меня записано: «7 августа Клеопатра погуляла с Никитой. Клеопатра — это телка у нас, чистокровная ярославка. А Никиту-то, небось, помните? — засмеялся пастух и подмигнул Андрею. Механик презрительно фыркнул и сказал:

— Мало ли какие случаи бывают, всего не упоминишь.

Но он лукавил, наш механик. Никиту мы вспоминали не раз...

...Недели три тому назад мы были в Аксеновке. Наш фургон стоял посредине села. Андрей прилаживал аппарат и дружелюбно рассказывал деревенским слушателям очередную, выдуманную им, историю.

— В киноактеры могут попасть только смелые, мужественные люди, — говорил он. — Ведь приходится бывать во всяких положениях. Например, снимают картину с участием тигра. Он идет прямо на аппарат, а оператор должен хладнокровно крутить ручку.

— Ай, — взвизгнули девушки, стоявшие в толпе, — ужаси!

Механик метнул в их сторонунисходительный взгляд и продолжал:

— На экзаменах в институт перед студентами леопардов выпускают, ежели не дрогнул — значит годен.

— И на вас выпускали? — испуганно спросила маленькая брюнетка в шелковой оранжевой кофточке и зеленой косынке, небрежно брошенной на плечи.

— Безусловно, — ответил Андрей и обернулся к ней. Девушка вспыхнула и опустила глаза.

— Все это пустяки, — явно рисуясь, продолжал механик. — Все это я выдержал великолепно, только по алгебре меня запутал профессор.

Рассказывая это, он распутывал электрический провод, идущий от мотора к киноаппарату.

Был тихий предзакатный час. Поднимая облако пыли, в село входило стадо. Разноголосомычали телята, овцы бестолково шара-

Хались к калиткам дворов, впереди стада шла молодая, статная корова рыжей масти.

— По примете завтра день красный будет, — громко заметил кто-то: — корова красная впереди идет.

— Предрассудки, — сказал Андрей.

— Кто знает? Приметы из жизни взяты...

В середине стада шел огромный пестрый бык. Широкий тупой лоб его был увенчан короткими, но могучими рогами. Шерсть быка лоснилась в последних лучах заходящего солнца. Поровнявшись с фургоном, он остановился, беспокойно оглядываясь, потом начал рыть копытами землю и хрипло заревел. Его, очевидно, привело в раздражение красное полотнище плаката, натянутое на задней стенке фургона.

Стадо пришло в замешательство. Бык ревел, мотал сложенной головой и медленно приближался к фургону. Толпа любопытных, следившая за нашими приготовлениями к сеансу, отступила.

— Прогоните его, — кричал Андрей.

— Пошел отсюда! Вот я тебе! Никита, пошел отсюда! — раздались крики.

Но бык, не обращая внимания на крики, продолжал продвигаться к фургону. Рев его был страшен. Андрей бросил провод, испуганно метнулся к машине и, молниеносно забравшись в кабинку, начал подавать гудки, пытаясь остановить рассерженного быка. Но это не помогло.

— Да прогоните же, — кричал он чересчур высоким голосом. В это время подоспел старший пастух, высокий и широкоплечий мужчина лет сорока. Он сильно щелкнул бичом и крикнул:

— Балуй, чорт, вот я те...

Бык остановился в нерешительности, скосив на пастуха налитые кровью глаза. Тот подбежал еще ближе и крича — «Никита, не балуй!» — хлестнул быка по сытой, упрямо выгнутой шее.

Бык отступил. Когда все успокоилось и пыль улеглась за прошедшим стадом, а мы уже заканчивали приготовления к сеансу, кто-то внятно произнес:

— Видно наш бычок пострашней тигры!

Все кругом засмеялись на эту шутку. Улыбнулся и я. Заметив это, Андрей нахмурился и сказал:

— Что у тебя руки как деревянные? Гайки путем завернуть не умеешь, все учи вас!

В тот вечер нашему механику никто не подмигнул во время сеанса, он пошел спать вместе с нами. Укладываясь на покой в пустом классе сельской школы, он объяснил нам, как бы извиняясь:

— Рога-то у него вон какие, подденет и лапки кверху!

Вот этот-то случай и напомнил Андрею лукавый пастух...

Мы посидели еще немножко, покуриды, поболтали о том, о сем. Пастух все уговаривал нас заехать в Аксеновку.

— У нас студентки приехали, — сказал юн — Племянница моя да с ней три подруги. В институте обучаются.

— Ребята, может заедем? — сдался Андрей. — А? Как вы думаете?

Но Николай горячо протестовал.

— Нет, нет, — говорил он, — сегодня в Дубовку, а там — в Поляны и на ремонт.

Уже несколько дней он доказывал нам, что машина нуждается в ремонте. Он что-то рассказывал насчет магнето, поршней, каких-то клапанов, мы ничего не понимали в этом.

— Я не знаю, как мы дотянем до Полян. Совсем разболтался мотор.

— Может быть лучше остановимся в Дубовке? — предложил киномеханик.

Однако Николай доказывал, что в Полянах удобнее ремонтировать, так как там хорошая мастерская...

Но, по-моему, дело тут не в мастерской. Я-то догадывался, почему Николая так тянет в Поляны: там живет Настя Куликова. Когда я намекнул ему об этом, он резко сказал: «Глупости», — но покраснел. Все было понятно...

— Ну, счастливо доехать, — напутствовал аксеновский пастух, и наш фургон застучал по деревянным клавишам мостика.

В полдень мы были уже в Дубовке, маленькой деревеньке, утопающей в зелени. И на улице перед фасадами домиков, и на задворках, и по гумнам росла рябина. Дубовка славилась ею на весь район. Рябина была разных сортов: кубовая, нежинская, медовая. Грозди ее мягко желтели среди темной резной листвы.

У самого въезда в деревню вокруг нового сруба, пахнувшего смолой, хлопотала артель плотников. Один из них, еще молодой парень, с прядкой русых волос, упавшей на лоб, обтесывал балку.

— Долго тебе, что ли, — говорил ему старик, очевидно старшой, — возьми шнурок и отбей, ровнее пойдет.

— Ништо, — весело крикнул парень, — у нас, дядя Ваня, глаз — ватерпас.

— Ватерпас! — сердито повторил старик.

Тут же, немного поодаль, два пильщика, методично раскланиваясь, распиливали на доски огромный сосновый кряж, положенный на высокие козлы. Вершник был одет в розовую рубашку, которая потемнела от пота и прилипла к спине, обрисовывая сильное, мускулистое тело. Из-под певучей пилы золотистым дождем летели опилки.

К нам подошел председатель Дубовского колхоза:

— Баньку воздвигнуть задумали. Нельзя без того, порядок требует... А вам, ребята, маленько попозже сегодня начать придется. У нас весь народ в поле, — жать начали.

— Я не возражаю, — согласился Андрей.

Собственно, что тут возражать? Не все ли равно нам? Но уж таков Андрей, всегда он ввернет словечко, чтоб показать свою значимость...

Сегодня у нас было много свободного времени, и я сказал това-

рицам, что хочу прогуляться. Николай занялся машиной, а Андрей говорит:

— Загляну-ка я в алгебру. Есть там одна задачка для некурящих, я над ней вторые сутки голову ломаю.

Он возил с собой учебник по алгебре и время от времени упражнялся в решении задач (наш механик все еще мечтал об институте кинематографии).

Узенькая тропинка уводит меня в поля, над которыми подымается сытая испарина. Я медленно бреду вдоль стены поспевающей пшеницы и, когда задеваю рукой, то чувствую теплую тяжесть зерна...

Через полчаса я прихожу на участок, где работают жнейки. Они шумно стрекочут, подрезая пшеничные стебли. Сзади жнеек остаются широкие подстриженные полосы.

Женщины вяжут снопы и ставят их в бабки. Делается это так: несколько снопов, колосьями вверх, ставят в круг и накрывают еще одним снопом. Получается подобие маленькой хижинки. Высокая, сероглазая женщина, в белом платке, очевидно бригадир, руководит этой работой.

Некоторые колхозники узнали меня и приветливо здороваются. Среди них я сразу же заметил одну девушку в голубой косынке. Она вместе со всеми ловко вязала снопы, проворно перекручивая золотистые жгуты свясла. Девушка была необычайно стройна, а в движениях ее было что-то милое, женственное.

Я подошел поближе. Она выпрямилась и с улыбкой, взглянув на меня, спросила:

— Значит сегодня будет кино?

— Да, — сказал я и подумал: — Где же я видел это лицо, эти синие глаза с золотистой искоркой смеха и немножечко пухлые губы?

— Какая сегодня картина?

— «Депутат Балтики». Это про одного профессора...

— Я знаю, про Тимирязева.

— Ну вот, городские сошлись ласы точить! — нето шутливо, нето сердито крикнула нам сероглазая женщина.

— Разве вы городская? — спрашиваю я у девушки.

— Нет, я из Дубовки, но учусь в медицинском техникуме...

— Вон как? А сейчас на каникулах?

Девушка молча кивает мне головой и снова принимается за работу. Я некоторое время еще стою и все припоминаю: «где же я видел ее?». И вдруг догадываюсь: я не видел, я воображал ее! Да, такой представлялась она мне в юношеских мечтаниях. Мне снова хочется говорить с ней, слышать звук ее голоса...

Но девушку зовут на другой участок, и она говорит:

— До свиданья.

— До вечера, — отвечаю я и, проводив взглядом ее фигуру, возвращаюсь в деревню к своим товарищам.

Мне необычайно легко и весело. Я что-то пою и размахиваю



руками. Мир кажется мне огромным и солнечным. Ветерок пробегает над нивой, и она представляется широким морем, по которому ходят золотистые волны.

Сегодня вечером я постараюсь, чтоб лента не оборвалась ни разу, чтобы сеанс прошел отлично.

После сеанса я, может быть, снова заговорю с ней...

### 3

В Поляны, в Поляны! — рвется сердце нашего шофера. Уже решено, что мы пробудем там дня два или три, до тех пор, пока Николай не закончит ремонт машины. И вот, наконец, мы едем в Поляны. Вдоль дороги в два ряда выстроились березы, и дорога похожа на длинную аллею.

В глубине этой аллеи маячит фигура одинокого путника. Мы сближаемся. Андрей кричит шоферу:

— Останови, Коля!

Николай тормозит машину, а киномеханик, подмигивая пешеходу, спрашивает:

— Ловится ли? — и смеется.

Улыбаемся и мы с Николаем.

Дело в том, что в самом начале лета на пыльном проселке мы повстречали маленького худощавого человека лет сорока двух. Он был одет в прорезиненный макинтош дикого цвета, а голову путника венчал белый картузик. Человек этот, как бравый вояка, был переkreщен ремнями, на которых висели сумки, футляры, а на плече, как боевое копьё, держал он что-то похожее на свернутую в трубочку географическую карту.

— Извиняюсь, не довезете ли меня до Полян? — попросился он и тут же отрекомендовался: — Фотограф Эжен Киселев.

— Садитесь, — сказал Андрей и подал ему руку.

Фотограф с удивительным проворством забрался в кузов машины, но предупредил:

— Я не имею чем заплатить за вашу любезность.

— Мы не требуем платы, — ответил механик.

— Совершенно чудесно, — быстро отозвался Эжен Киселев, — а то я, знаете, поиздержался, сделал массу ценных приобретений.

Он оказался болтливым человеком и за какие-нибудь пять минут рассказал нам, что является владельцем маленькой фотографии, но что в городе теперь заработки невелики, и он решил поехать в деревню.

— Почему же вы едете именно в Поляны? — спросил я.

— Ах, ах, — сказал фотограф и укоризненно покачал головой. — Вы, молодой человек, совершенно не учитываете конъюнктуры. Установим: что такое Поляны? Передовой колхоз!.. Совершенно чудесно. Почему он передовой? Согласно сообщениям прес-

сы он первым закончил весенний сев. Следовательно там есть герои, которым приятно иметь фотографический снимок... И, пожалуйста, к вашим услугам маэстро Эжен Киселев...

— Ловко задумано! — сказал Андрей.

Фотограф был польщен и сообщил более интимные подробности своего плана.

— Извиняюсь, — сказал он, — нет ли среди вас любителей рыбной ловли? Ах, нет? Так слушайте сюда: плотва лучше всего ловится на муху, окуня берут на личинку стрекозы, а деревню я возьму вот на эту штучку, — и он развернул перед нами свою «географическую карту». Она оказалась декорацией, на которой были изображены кипарисы, пальмы, белый дом с невообразимой колоннадой, озеро с лебедями и луна.

— Хочу я знать, кто устоит против этого фона? — спросил он и скрипуче рассмеялся. — Это же шедевр! А? Что вы сказали? — Но мы ничего не сказали. Мы расстались с ним при въезде в село.

— Честь имею откланяться, — заявил Эжен и потрусил какой-то мелкой воробышиной походкой. Андрей поглядел вслед и сказал:

— Ну и жучок!

Мы совсем уже забыли об этом фотографе, как судьба снова столкнула нас...

— Привет, привет, — закричал он, впрочем без особенного энтузиазма.

— Ловится ли? — повторил Андрей.

Фотограф пожал плечами:

— Я не понимаю, что творится. Декорация не пошла.

— Неужели? — удивился я. — А у вас был такой обдуманый ход.

— Вы понимаете, — продолжал Эжен, — никто не хочет сниматься у такой симпатичной декорации. Обязательно нужно, чтоб я снимал их на фоне снопов, чтоб фотографировал детей на лужайках. Как вам это нравится? А? Что вы сказали?

Мы от души смеемся над незадачливым фотографом и продолжаем свой путь в Поляны...

Почти у самого села Николай останавливает машину и говорит:

— Стыдно въезжать на таком верблюде. Подождите, я пыль оботру.

И вот он начинает обтирать машину сырой тряпкой. Кузов фургона блестит. Сбоку, на дверцах кабинки, проступает надпись: «Комсомольская бригада кинотреста».

— Теперь можно ехать, — говорит шофер, и через несколько минут на третьей скорости мы влетаем в Поляны. Белый петух, важно разгуливающий по улице, удирает из-под самых колес нашего фургона. Он бежит, растопырив крылья и пригнувшись, как перед боем.

Пестрая собачонка вскачь несется за автомобилем, заливаясь

радостным лаем. И мы уже слышим звонкий мальчишеский выкрик:

— Кино приехало!

По нашим расчетам сегодня здесь выходной и, стало быть, нас ждут с нетерпением. Заведующий колхозным клубом, Павел Иванович Кочин, наш ровесник, белокурый, румяный парень, бежит навстречу.

— Привет, орлы! — кричит он. — С чем приехали?

— «Депутата» везем, — отвечает Андрей.

— Ну, распрягайте, хлопцы, конив и пойдете обедать.

— А может не стоит? — говорит Николай.

— А может пообедаем? — в тон ему отвечает Андрей.

Я вижу, что Николаю не терпится: сделать столько километров и ради обеда оттянуть встречу с любимой. Разве это в характере молодых?

— Торопиться некуда, — поясняет Кочин. — Все равно наши в полях.

— Разве сегодня не выходной?

— Жнитво началось. В такую пору выходные не соблюдаем. День — год кормит. А нынешнее лето особенное — жара стоит. Пропусти день — и потечет зерно.

— Жарко, это правильно, — говорит Андрей. — Пойдемте-ка сначала купаться. Возражений нет? Принято единогласно.

— И я с вами, — соглашается Кочин.

Да реки тут совсем близко. Серебряной подковой огибают она Поляны. Мы торопливо идем вдоль откоса, спускаемся вниз к воде, манящей прохладой.

Ах, хорошо покупаться! Быстро раздевшись, Андрей с размаху бросается в воду и саженками вымахивает на середину реки. Сильное, молодое тело его отсвечивает медью. Хрустальные брызги летят вокруг и рассыпаются мелкой солнечной пылью. Мы бросаемся вслед за ним и гогочем от удовольствия. Но я плохо плаваю и потому купаюсь у самого берега. Товарищи смеются надо мной:

— Эх, ты, курица. Плыви смелее.

— Боюсь утонуть.

— Да не утонешь.

Нет, если бы было мелко, я поплыл бы за ними, но река глубока. На середине ее, говорят, есть бочаги и колдобины.

Давно, еще в детстве, я тонул в маленьком прудике и с тех пор боюсь заплывать далеко. Мне все кажется, что заплыву, а обратно — нехватит сил.

Вот Николай здорово ныряет. Он кричит нам: — Считайте! — и скрывается под водой. Мы начинаем считать: раз... два... три... девять... пятнадцать... Сбиваемся со счета, а он выплывает далеко от нас и совсем не в том месте, где мы ожидали его.

— По-эпронovski! — хвалит Кочин. — А ну, считайте теперь за мной...

Выкупавшись, мы чувствуем себя легко, бодро и возвращаемся в село.

— Теперь пообедаем.

Кочин живет в новом просторном доме. В сенях прохладно. Пахнет смолой и свежими вениками. Мы идем в горницу. Передняя стена ее занята портретами и фотографическими карточками, оправленными в потемневшие от времени, узорно-выпиленные из фанеры рамки.

О, эти фотографические карточки! Они есть в каждой избе. На них, обычно, изображены испуганные женщины и каменно-сосредоточенные мужчины, сидящие на венских стульях. Руки с растопыренными пальцами лежат на коленях. Сзади возвышаются кипарисы или дворцы. Так снимались русские крестьяне.

Когда-то, в кой-то веки, попав в город на ярмарку, останавливались они перед нехитрой механикой скороспелого фотографа, чтобы сохранить на память свои изображения...

Мне понятны эти углы и стены крестьянских домов, увешанные фотографиями. По ним можно прочесть какие-то страницы семейной истории. Как, например, попал сюда снимок бравого мастерового, в лихо сдвинутой набок фуражке с лаковым козырьком, в жилете и при часах? Может быть это какой-нибудь дядя или племянник, отрезанный ломоть, не нашедший своего счастья на родимых полях и подавшийся в город. Прислал он оттуда весточку — дескать, жив, не пропал, прививается семья на новой почве... А вот пара: высокий, худой парень в непомерно широком пиджаке и рядом девушка, испуганно прижавшаяся к нему, как тростинка к тополию. Может, это снимались «молодые» перед венцом. И не было у жениха в чем сняться, в чем поехать с невестою в церковь. Вот он и выпросил у широкоплечего товарища новую «кобеднишнюю» одежду...

Как знакомо все это по рассказам, по горьким воспоминаниям родных!

Но тут, среди потускневших любительских снимков, замечаю я свежие, отпечатанные на глянцевой бумаге, фотографии. На них изображена пожилая, улыбающаяся женщина. В руках у нее охапка льняного волокна. Это снимки уже последних лет. И сделаны они, пожалуй, заезжим фоторепортером, вознамерившимся увековечить в своей газете стахановку местного колхоза. Здесь нет вычурной декорации, позади женщины расстилается поле, захвачен краешек рощи, чистое, безоблачное небо...

Я вспоминаю фотографа Эжена Киселева и смеюсь над ним: — Чудак, зачем сейчас декорация с пальмами и лебедями, зачем вся эта бутафория, переносящая человека в сказку, в небытие? Ведь может быть во сто крат приятнее запомнить себя в родной и близкой обстановке, среди широких колхозных полей, среди тучных снопов или с охапкой удивительно длинного льна, которым еще долго будет гордиться деревня!

Тринадцатилетняя сестренка Павла Кочина, такая же белоку-

рая и розвощекая, солидно выполняя роль гостеприимной хозяйки, потчевала нас молоком и пышными мягкими булками.

— Сама пекла, — подмигнул брат, явно гордясь молоденькой домовницей.

— Молодец! — похвалил Андрей.

Девочка сконфузилась, и лицо ее залила краска...

После обеда мы пошли готовиться к сеансу. День уже дограл. С поля повеяло ветром, и на крыльях его долетела мелодия песенки. Слов еще нельзя было разобрать, только стройный напев легко плыл над вечерним покоем.

— Наши с работы идут, — угадал Кочин.

Полянские павуны на весь район славятся чистыми, звонкими голосами. Зимой в здешнем клубе часто выступает хоровой кружок, и на эти концерты собираются колхозники окрестных сел...

Вскоре по улице прогροхотала телега, запряженная парой коней, потом у околицы показалась толпа женщин. Впереди шли девушки в легких кофточках и светлых косынках. Шли они медленно, наполненные той счастливой усталостью, которая приходит после трудной, но любимой работы.

Песня оборвалась и затихла, но радостное возбуждение, всколыхнутое ею, еще звучало в шутках, цвело в улыбках, сияло во взглядах.

Тут мы увидели и Настю Куликову. Она прошла мимо нас, не оглянувшись, гордо подняв голову, словно не видя нас. Только торопливость походки выдавала ее волнение.

Я заметил, как встрепенулся Николай, как ожил он и почему-то вдруг покраснел, я даже уловил его желание броситься навстречу подруге, но он сдержался и лишь долго провожал ее взглядом. Мы тоже смотрели ей вслед: оглянется или не оглянется? Не оглянулась!

— Характер у нас одинаковый; — сказал Николай. — Она тоже смущается. Даже взглядами при людях неловко встречаться...

И, помолчав, он проговорил мечтательно:

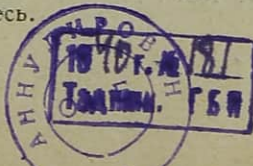
— Я, ребята, се одня наверное долго прогуляю, сами понимаете.

Андрей кивнул головой.

Немного из пришедших задерживались около нашего фургона. Все спешили домой — умыться, переодеться, поужинать, справиться свои домашние дела, чтобы успеть к началу сеанса. Только колхозные ребяташки, наши вечные почитатели, ревностно следили за работой. Андрей ворчал на них, прогоняя, чтобы не мешали работать, но столь велико было их любопытство, что в конце концов и он махнул рукою: — Ну, ладно, от вас не избавишься...

Уже совсем поздно начали мы сеанс. И Андрей тут же отпустил Николая.

— Без тебя управимся, — сказал он. — А ты поди, не упускай момента. Настенька-то наверное здесь.



— Да я уже заметил ее, — сказал шофер и, крепко пожав нам руки, ушел. Я почувствовал, что руки у него были горячие.

Однако сейчас же после сеанса шофер вернулся к нам. Мы даже еще не успели убрать аппаратуру и он сосредоточенно принялся помогать.

— Ты что же? — спросил Андрей.

— Да что-то устал я, ребята. Пораньше спать лечь охота...

А молодежь все еще не расходилась по домам. Ребята и девушки всей гурьбой пошли на откос, и оттуда доносились звуки гармоник, молодой смех и напевы частушек.

Даже тогда, когда мы убрали свой аппарат и, поставив машину во двор колхозного правления, тут же расположились на ночлег, на откосе еще не угомонились, еще гуляли. В ночной тишине долетала до нас вызывающая, дразнящая песенка:

Ты не стой у ворот,  
Не подсвистывай, —  
Потеря любовь —  
Не разыскивай...

Мне показалось, что поет ее Настенька Куликова, и я хотел об этом спросить у Николая, ведь он-то уж знает ее голос. Но шофер ворчался, кряхтел, глубоко вздыхал. Видно и в самом деле он приустал сегодня.

#### 4

В Полянах мы не стали ремонтировать машину. Николай сказал:

— Ничего, она еще походит...

И вот наш фургон снова в пути. Опять мелькают перелески, поля. Повсюду уже начали убирать пшеницу. Возле Варварина встретился первый комбайн.

Николай всю дорогу молчит, и мы его ни о чем не расспрашиваем. Видно у него вышла какая-то неприятность. Я догадываюсь и хочу сказать ему: «Полно, Николай, на свете много девушек молодых и красивых». Но я молчу, потому что знаю — сейчас для него существует только одна. Будет время, и это маленькое увлечение покажется ему смешным и наивным. Может быть, он совсем позабудет о нем. Впрочем, откуда я знаю что будет? Я ничего не знаю...

Мы проезжаем рошу. Теперь уже совсем недалеко до Викулова. Уже видны крыши колхозных построек, поблескивающие на солнце свежей щепой. Вдруг Николай тормозит машину и оглядывается.

— Что такое? — спрашиваю я.

— Мне и здесь не везет, — говорит он и выбирается из кабины. Я тоже. Николай приподнимает кожаное сиденье, достает из

ящика домкрат, ключи, старую шину и баночку с бензиновым клеем.

Значит мы постоим? Ну что ж, места здесь чудесные. По обочинам дороги густо растут цветы. В траве стрекочут кузнечики.

Из кузова машины вылез Андрей Ноговицын.

— Неувязка? — говорит он. — Что ж, я вздремну.

Он отходит в сторонку и растягивается на траве, лицом вниз.

Вчера Андрей снова вернулся на рассвете и не выпался.

— У него в каждом селе знакомая, — ворчит Николай.

Да, про него это действительно можно сказать.

— Коля, тебе помочь? — спрашиваю я.

— Это пустяки, — отвечает он. — Я и один управлюсь.

Я присаживаюсь рядом с Андреем. Со всех сторон нас окружают белые ромашки, медовый клевер, бледнолиловые колокольчики...

Поска Николай прилаживал под заднюю ось домкрат, откуда-то прибежали ребятишки и дружной ватагой обступили автомобиль. Ребята лет по восьми-деяти, есть и постарше.

— Клеить будет! — восторженно выкрикнул малыш в розовой рубашке.

— А запасной камеры нету? — осторожно осведомился старший из ребят. — Надо бы с запасной камерой ездить.

Николай сердито оглянулся и заворчал:

— Давай, давай отсюда. Слышь, уходи!

— Мы, товарищ, только посмотреть. Мы — ничего.

Ребята отошли в сторону и веселой стайкой уселись на траве. Начались разговоры об автомобилях, о шоферах, потом незаметно перешли на более высокие темы — о летчиках.

— Громов-то дальше пролетел, — горячо доказывал мальчик в розовой рубашке, — Громов через Северный полюс, аж до Калифорнии.

— А Чкалов наискосок летел. Выпрями его дорогу — вот и узнаешь, кто дальше.

— А у Громова четыре ордена.

— Не четыре, а три.

— Э-э, да ты, наверное, в «Колхозном кличе» смотрел? Там с опечатками. А я в «Правде» видел: четыре.

— А у чкаловского самолета крылья больше.

— Нет, крылья одинаковые, — вмешался парнишка в старой фуражке, на которой еще был след от красноармейской звезды.

— Крылья, конечно, одинаковые.

— А я в Мэтесе «У-2» видел...

Меж тем Николай снял колесо, вынул камеру, зачистил ее подпилком, вырезал заплату и наклеил. Но заплатка отстала. Шофер опять заворчал.

— Не заклеилось? — участливо спросил один из приятелей.

— Ему бы подождать надо заплатку накладывать, — осуждающе заметил другой. — Ты, товарищ шофер, намажь клеем-то, а

накладывать погоди. Пусть высохнет. А потом приложи — крепче схватит.

Николай презрительно фыркнул: «Специалист».

— Чай, видели, как клеят, — доказывал парнишка. — Чай у папаньки велосипед есть.

— Тебя как зовут? — спросил Николай, и в голосе его слышалась нотка миролюбия.

— Петр Василыч, — бойко ответил малыш.

— Ты, Петр Василыч, съешь отсюда. Небось мать приказала с сестренкой нянчиться.

Паренек, не ожидавший такого коварства, растерялся.

— А у меня нету сестренки, — ответил он после короткого молчания.

— Ну, значит, с братишкой.

— А он в яслях, братишка-то.

— У нас в колхозе второй год ясли открыты, — поддержали его.

— А что же вы теперь делаете?

Дел оказалось много.

— А ну, Володя, расскажи, как вредителя поймал.

Володя, русоголовый, востроглазый мальчик лет девяти-десяти, улыбнулся.

— Про это в газете писали, — сказал он, — мы с Нюрой в овраг за ягодами ходили...

— Нюрка — это сестренка его. В нашем классе учится, — объяснил Петр Василыч.

— ...Потом обратно идем, уже затемнело. Вадим: какая-то тетенька в озимом колоски стрижет. Стрижет и в сумку кладет. Ну, я стеречь остался, а Нюрка за бригадиром побежала. Пришел бригадир и забрал...

— Не воруй колхозное, — заметил Петр Василыч.

— Молодцы, — одобрил Николай.

— А как же, чай, мы колхозники... Ну, теперь лепи заплатку-то, лепи. Подсохло. Теперь крепко схватит.

Николай заклеил камеру, на этот раз хорошо, заправил ее на место и начал подвинчивать гайки. Через несколько минут все было готово.

— Поехали!

— В радиатор-то бы водички добавить, а то жарко, — крикнул кто-то из ребят.

— Не учи, знают и без вас, — отозвался Николай и дал газ.

Фургон покати, оставляя за собой облако пыли. Дети стояли на дороге и махали ему вслед.

В Викулове Николай все-таки решил добавить воды в радиатор. Он загормозил машину у колодца и пошел в ближайший двор за бадьей.

Неподалеку стоял другой автомобиль — грузовик потребсоюза. Возле него — механик и завмаг. Тут же был и председатель кол-



хеза, сутуловатый мужчина в военной гимнастерке. Он поздоровался с нами, а шофер грузовика спросил:

— Что казать будете?

— «Летчиков». Новый фильм.

— А нет ли «Капитана Гранта»? — спросил председатель. — Для ребятшек бы. Они у меня колоски собирают, снопы помогают вязать, ну надо им за это поощрение выказать. Спрашиваю: «Чего вам, ребята, купить — пряников или конфет?» — А они говорят: «Ни пряников, ни конфет не надо, а дай кино «Капитана Гранта». «Ну, думаю, что ж, дадим вам кино»...

У нас есть «Дети капитана Гранта», и мы обещаем сегодня показать эту картину.

— Можно бы для них и в школе проверить, да там полы красят.

— На воле лучше, — подтвердил потребсоюзевский шофер и попрощался: «Пока! Вечером обратно поеду, может быть и в кино угожу».

Но шофер, видимо, опоздал, и мы не заметили его на сеансе...

Было уже около полуночи, когда, собрав аппараты, и уложив все в фургон, мы отправились в правление колхоза, где нам приготовили ночлег. На улице было тихо и совсем темно. Посредине деревни Николай остановил машину, вылез из кабины и пошел вперед.

Он что-то посмотрел и, вернувшись обратно, сказал:

— Давеча тут был разворочен мостик. Сейчас починили, но все же ходил посмотреть, а то опасно.

И вдруг из темноты послышалось:

— Кто тут произнес слово «опасность»?..

Так говорил чудаковатый исследователь Жак Паганель. Но сейчас эти слова были произнесены не баском ученого, а звонким дискантом. В свете фар показалась детская фигурка.

— А, Петр Василич, — узнал я мальчугана.

— Не отклеилось? — лукаво спросил малыш.

— Спать, спать пора, — строго сказал Николай и, рывкнув, дал полный ход. Бревенчатый настил мостика затарахтел под колесами фургона....

Через день мы уже далеко. В колхозном селе Лада. Оно раскинулось на берегу мелководной, но резвой речушки Каменки. Поодаль от села, окруженный столетними липами, стоит большой белый дом в два этажа, с колоннами, с балконом и мезонином. Говорят, что здесь было поместье какого-то князя. Сейчас там совхоз.

Я был в этом совхозе весной. Ранним утром пришел я в парк. На деревьях шумно галдели грачи. Липа раздвигала лист. Подымалось большое солнце, предвещая ясный безоблачный день. На площадке у дома играл ребенок — маленькая белокурая девочка. Я бродил по аллеям, пахнувшим прелыми, прошлогодними

листьями. И в глубине парка, среди кустов жимолости, встретил могильный коломик. Деревянный памятник, оббитый железом, возвышался над ним. Какая-то добрая душа заботилась об этом уголке: среди кудрявой зелени подымались цветы, очевидно, принесенные с клумбы, которую я заметил около дома.

Я долго стоял у могилы и думал: «Чья она?». А днем мне рассказали, что семнадцать лет тому назад в здешних лесах скрывалась банда «зеленых», во главе с каким-то отчаянным Юшкой. Однажды ночью бандиты напали на совхоз. Рабочие защищались. В этом бою были убиты два коммуниста: юноша и старик. Их похоронили в парке.

И еще я узнал, что девочка, которую встретил я утром на площадке около дома, была внучкой убитого старика. Девочку звали — Майка.

В тот день я все ходил и повторял когда-то запомнившиеся слова:

«И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть и равнодушная природа красною вечною сиять».

И вдруг подумал: почему равнодушная? Разве мир, завоеванный кровью наших отцов, не стал прекраснее? Вот как ярко сияет нам солнце, вот как пышно зеленеют поля, вот как чист и прозрачен воздух. Дыши полной грудью. Живи!

Так я думал весною, когда впервые пришел в совхоз.

Вечером мы будем показывать кино «Депутат Балтики», а сейчас только полдень. Нам пока еще нечего делать, и Николай говорит:

— Я думаю сходить на почту, чтобы позвонить в машинно-тракторную мастерскую. Они обещали мне кое-какие запасные части для автомобиля.

И он уходит, чтобы позвонить в мастерскую. Но я слышу, как, отойдя от фургона, он спрашивает у кого-то: «А в Поляны отсюда есть телефон?».

— В чем дело, разве Николай забыл, что МТМ совсем в другой стороне, не в Полянах, а в Городище?..

Целый час торчит он на почте, потом возвращается и мрачно сообщает:

— Не дозвонился.

Я перематываю кинолентку. Он стоит рядом и смотрит. Когда я кончаю и складываю ленту в жестяной футляр, Николай говорит:

— Я не дозвонился и решил написать. Посмотри-ка, что ты скажешь об этом письме?

— Ты хочешь послать в мастерскую письмо? — удивляюсь я. — Но ведь мы сами будем там раньше, чем оно.

— Нет, это не в мастерскую.

И я читаю письмо, написанное со всей страстью двадцатилетнего сердца. Мне становится ясно, что произошло в Полянах: она упрекнула его в неверности и не захотела выслушать

оправданий. Но ведь это же клевета! Кто-то сказал про Николая неправду. Он всегда был верен белокурой Насте и кто-кто, а она-то должна понимать это.

— Что ж, надо послать, — говорю я, возвращая письмо.

— Не хочешь ли ты со мною пройтись на почту? — предлагает Николай.

И мы вместе идем на почту. Там он берет чистый конверт и старательно пишет адрес: «с. Поляны, колхоз Красный льновод, Анастасии Михайловне Куликовой».

Он аккуратно заклеивает конверт и готовится наклеить марки.

— Для заказного, — спрашивает он у стриженной девушки, сидящей за окошечком почтовой конторы.

— Две марки — сорок копеек, — отвечает она.

Николай протягивает ей рубль и говорит:

— На все.

Он наклеивает на уголок конверта две марки, потом третью и отдает письмо стриженной девушке.

— Я же вам сказала, что на заказное нужно две марки, а вы наклеили три, — выговаривает она сердитым тоном.

Николай смущен. Действительно, зачем он наклеил три? Мне становится немножко смешно, но я скрываю улыбку. Я понимаю его. Ведь и мне хочется послать письмо голубоглазой девушке в Дубовку, но я даже не знаю ее имени. Проклятая неловкость! В тот вечер я не посмел подойти к ней, а на утро мы были уже далеко...

Я и Николай молча выходим на крыльцо, молча возвращаемся к фургону, и уже около самой машины он спрашивает:

— Как ты думаешь — дойдет?

— Безусловно, — отвечаю я.

## 5

Мы получили задание выехать в «Серебряные ключи» и там в доме отдыха показать звуковую комедию «Богатая невеста». Андрею нравится эта картина. Он находит, что между ним и героем фильма, трактористом Павло, есть какое-то сходство. И хотя мы не замечаем этого сходства, но, чтобы не огорчить товарища, говорим:

— Да, что-то есть, особенно со спины.

— Конечно, — убеждает Андрей, — а профиль? Ведь это же мой профиль.

— И сапоги, — говорит Николай, — сапоги точь-в-точь как у тебя...

Наш фургон подъезжает к «Серебряным ключам» перед закатом. От усадьбы веет чем-то рыцарским, средневековым. Не этот ли серый замок с порталами и башенками, с узкими стрель-

чатыми окнами и высоким флагштоком встречали мы в романах Вальтер-Скотта?

Густая заросль шиповника стоит плотной стеной вдоль дорожки. О чем-то задумались старые вязы. Тихо шелестит листвою черноклен. В газонах пламенеет настурция. Терпко пахнут левкоями и душистым табаком.

Высокие кедры, как мрачные оруженосцы в темнозеленых камзолах, встали у входа в парк. А на широком дворе хорошо вытоптанная площадка, опороженная чугунной решеткой, не служит ли ристалищем для турниров? Так и ждешь, что вот сейчас на дубовую аллею выедет закованный в латы Ричард Львиное сердце, а из окна миниатюрной башенки выглянет золотокосая леди с голубыми, как небо, глазами.

Но вместо рыцаря навстречу нам идет уже немолодой человек невысокого роста в чесуевом пиджаке и соломенной панаме. В руках у него небольшой ящичек. Что-то знакомо мне в этом человеке, я вглядываюсь пристальнее и узнаю: «Ба, да ведь это Дмитрий Иванович!». Я прошу Николая остановить машину и выпрыгиваю из кабинки.

— Дмитрий Иванович, какими судьбами?

Но Дмитрий Иванович еще не узнал меня. Он смущенно раскланивается и бормочет: «Винovat-с, с кем имею... и вдруг вспоминает:

— Федя Максимов?

— Ну да, Федя Максимов, ваш ученик.

— Ах, как вы загорели, голубчик. Едете отдыхать?

Я объясняю Дмитрию Ивановичу цель своего приезда.

— А я вот здесь картину пишу, — говорит юн. — Хотите взглянуть?

— Конечно, хочу.

— Поезжайте, — кричу я товарищам, а сам вслед за Дмитрием Ивановичем направляюсь к дому.

С Дмитрием Ивановичем я знаком давно. Он был у нас на рабфаке учителем рисования. Это добродушный, простой, немного чудаковатый человек. Он неплохой художник. По крайней мере его «Ветка сирени» на московской выставке получила похвальные отзывы. Как человек — это сплошное миролюбие. Он терпеть не мог ссор и всякой полемики. Лучшими его собеседниками были холст, краски и натура — березки, закат. Я никогда не видел, чтоб он рисовал людей. И однажды спросил:

— Дмитрий Иванович, почему вы не рисуете людей?

Он улыбнулся своей милой, чуточку грустной улыбкой и ответил:

— Я пишу только хорошее. А люди — что же?.. От них потом пахнет и гадости всякие они делают. Вы посмотрите, голубчик, как я Клязьму написал!

И он показывал Клязьму, розовую от пламенеющего заката.

Что-то покажет он мне сейчас? «Березовую рощу» или «Ромашковый луг»?

Мы поднимаемся на крылечко деревянного флигеля, большие светлые окна которого обращены в сад.

— Вот здесь, моя мастерская, — говорит художник и ведет меня в комнату.

В переднем углу я замечаю накрытый простыней мольберт. Дмитрий Иванович осторожно снимает покрывало.

На полотне были изображены люди...

Да, Дмитрий Иванович неплохой художник, и у него это получилось...

— Ну, и как вы назвали эту картину? — спрашиваю я после некоторого молчания.

— «Соревнуются». Они, голубчик, соревнуются, чтобы победить на полях. Это лучшая бригада МТС, люди труда, а труд, дорогой мой, главное украшение человека...

— Дмитрий Иванович, а как же ваши убеждения? Помните, вы говорили, что от людей пахнет потом.

Художник смущенно машет рукой:

— Полно вам, ведь сколько лет прошло. Кто старое вспомнит, тому глаз вон... А я, голубчик, еще одну задумал. Только вы никому не говорите... Впрочем, я и вам не расскажу. Не могу. Я всегда так: задумаю и никому не говорю, а то если расскажешь, то как-то неинтересно работать становится.

— Не рассказывайте, — говорю я.

Потом Дмитрий Иванович показывает свои этюды. Их очень много, они яркие, солнечны... Но я тороплюсь. Меня, очевидно, ждут. И, попрощавшись с художником, я иду разыскивать своих товарищей.

Наш фургон стоит около открытой сцены летнего театра. Андрей с Николаем уже заканчивают приготовления к сеансу. Когда я подхожу к ним, чтобы объяснить причину опоздания, Андрей предупредительно говорит:

— Оказывается, у тебя здесь знакомство? Если хочешь — мы справимся одни. Это не так сложно.

— Конечно, — подтверждает Николай. — Я вполне могу заменить тебя на сегодня.

Мне незачем больше идти к Дмитрию Ивановичу, но я говорю:

— Да, у меня здесь друзья, и я хотел бы пойти.

— Это уже решено, — отвечает Андрей. — Ты сегодня свободен. Может быть, ты вернешься поздно, так я хочу предупредить тебя, что постели нам приготовят на веранде.

И вот я снова отправляюсь к Дмитрию Ивановичу, но его уже нет дома. Он куда-то ушел. Тогда и я иду бродить по аллеям парка. Меня интересует эта рыцарская усадьба. В глубине сада за круглым прудом я вижу беседку и хочу войти, чтобы посмотреть внутреннее устройство.

Но в беседке сидит парочка. При моем появлении молодые

люди смущенно отодвигаются друг от друга. Девушка торопливо поправляет прическу. Я тоже смущен и, бормоча извинения, поспешно ухожу от беседки. Если мне попадется другая беседка — я не зайду...

Целый час я брожу среди кустов и деревьев. Уж темнеет. Становится тихо. Кто-то пробежал по главной аллее, звеня колокольчиком. Потом я различаю далекий стрекот мотора. Значит мои друзья начинают сеанс. Не пойти ли мне к ним? И я иду напрямик сквозь заросли боярышника. Вдруг меня окликают. Ко мне приближается человек. В руках у него берданка. Очевидно это сторож. Я называю себя и объясняю как попал сюда.

— А не врешь? — спрашивает сторож, подходя совсем близко.

— Зачем же мне врать?

— Ну, ин, ладно. Не угостишь ли курнуть?

Я даю ему папиросу. Закуривая, он освещает маленькое, сморщенное, как печеное яблоко, лицо с редкими кустиками седых волос.

— Людям картину кажут, — говорит он, попыхивая папироской, — а наш брат, сторож, службу обязан справлять. — И вдруг спрашивает: — Ты не испужался?

— Нет, — отвечаю я.

— На тебя-то я страху не напущал, потому что засветло еще вас приметил с художником. А ты не смотри, что я стар, я ведь взыскательный и ружьем попугаю. Служба!

Мы проходили мимо мрачного каменного строения. На сером фоне стены зловеще чернеют маленькие окошечки.

— Что это? — спрашиваю я у сторожа.

— А это у него тюрьма была.

— У кого?

— Да у генерала-то, прятка его возьми.

Сторож рассказывает мне, что эта усадьба принадлежала гвардейскому генералу, предводителю дворянства.

— До чего сытый и румяный был генерал, — говорит старик, — просто ужаси. Собашник страсть какой. Специально собачьего повара содержал... вот как. И для него эти самые собаки, выше людей были. Тут из нашей деревни один человек у него в псарях стоял и не доглядел: что-то с собакой случилось, что она чутье потеряла. И собака-то немудрящая, а ведь генерал человека за это в тюрьме сгноил. По ихним законам какую-то статью подвел. Собачьи были законы...

Так вот кто был хозяином этого рыцарского замка!

Вот кому принадлежали этот парк, эта пышная усадьба!

— В семнадцатом году, как пошла заваруха, — продолжает сторож, — испужался генерал и уехал, слыхать, во Францию. Мужички, которые побойчей, подбивали все спалить его дом-то, чтобы, дескать, и духу не оставалось. Ну, комитет согласу на это не дал... Да-кось я тебя еще на папиросочку разорю.

Закурив, старик продолжал:

— А тут вот, годов пять тому назад, получили мы на деревню письмо из самой Франции из Ментоны, слышь, такой город есть. Пишет барыня, генералова-то женка. Дескать, разлюбезные наши суседи, барин ваш прожился на чужой стороне и помер. А перед смертью, слышь, отказал все свои земли крестьянам без всякого выкупа. И как исталась я горькой вдовицей, то прошу выслать мне денег на прожитие по моему высокому положению..

Собрались мы. Почитали это письмо и решили ответ написать. Три дня всей деревней сочиняли, ну уж и вышло может не фигурно, да зато ясно. Дескать, глупа ты, барыня. Земли ваши мы еще в семнадцатом году без всякого выкупа взяли и платить никому не обязаны. Человек ты образованный, но, видно, не в прок пошла тебе грамота, того, мол, не понимаешь, за что мы содержать тебя будем. Не за то ли, что в тюрьме гнсили, что прабили вы нас да плетью пороли? Катись-ка ты, мол, барыня, от нас куды подальше. Складное вышло письмо!.. А картина-то ваша кончилась, — несжиданно добавил сторож. — Вишь, народ на покой возвращается. Прощай покуда, мне службу надо справлять.

Он уходит, и маленькая, суховатая фигурка его тотчас тонет во мраке ночи. С противоположной стороны к дому идут отдыхающие. Я вижу темные силуэты их, слышу шутки мужчин и звонкий, залихватый смех девушек.

Мимо меня проходят двое мужчин. Один из них говорит:

— В нашем колхозе тоже большой трудовень.

— А электричку мы все-таки выстроим, — сообщает другой.

— Да, у вас это выйдет, — соглашается первый.

Девушки идут, взявшись под руки. Они уже напевают песенку из «Богатой невесты». На девушках светлые платья, и фигуры их кажутся удивительно легкими, стройными, как бы прозрачными.

— Да не торопитесь, — просит кто-то.

— Уже поздно, — отвечает девушка.

— Пойдемте на Клязьму.

— Нет, нет, — говорит она и бежит к подъезду главного дома.

Ночь удивительно теплая и душистая, как в июне. Такие ночи можно бродить напролет. Но я иду к дому, отыскиваю веранду и вижу три кровати. Это для нас. Моих спутников еще нет. Они, очевидно, задержались, убирая аппаратуру.

За стеклянной дверью, идущей с веранды в дом, некоторое время еще стоит шум. Потом он стихает. Гаснут огни. Вскоре приходит Николай Строев.

— А где же Андрей, — спрашиваю я.

— Разве ты не знаешь его? — ворчит шофер. — У него всюду знакомые девушки.

На веранде темно, и я не вижу, какое у шофера лицо.

Но, по-моему, он мрачен. Его возмущает поведение механика. Чтобы успокоить его, я спрашиваю:

— Она получила твое письмо?

— Не знаю, — отвечает Николай. Он не расположен к беседе, поэтому молча раздевается и ложится спать...

А я никак не могу уснуть.

Тихо и душно. Где-то совсем близко плещется Клязьма. Я встаю, одеваюсь и на цыпочках, боясь сплутнуть сев шопера, покидаю веранду.

К реке ведет деревянная лесенка с площадками, на которых устроены скамейки для отдыха.

На берегу, под кручей, на большом, белом от лунного света камне сидит человек. «Не рыболов ли запоздалый?» — мелькает в моей голове. Я подхожу поближе и вдруг узнаю своего механика.

— Ты спишь? — удивляюсь я. — Мы думали, что опять за какой-нибудь волочиться. Николая возмущает твоё летномыслие.

Механик некоторое время молчит, поднимает что-то с земли, может быть камешек или кусочек глины, бросает в воду. Мы оба следим, как расходятся круги — сначала маленькие, потом они делаются все шире и шире, и, наконец, снова поверхность чиста и спокойна.

— Знаешь, — говорит Андрей, и в голосе его я слышу мягкие нотки стирпованности. — Мы больше болтаем об этом, на самом же деле это сложнее и вовсе не так. Один человек в городе показал мне свою записную книжку, в которой длинный список левских имен был помечен крестиками... «Мои победы» — позвастался он. И человек этот стал мне противен. Да и человек ли он? Ведь это — «Никита» и вся разница лишь в том, что за быком наблюдает пастух, а этот сам отмечает...

— А женщины? Значит, они любят таких?

— Едва ли, — говорит он. — Это не любовь, а сплошные ошибки...

Я не знаю — прав ли Андрей, ведь он всегда норовит немножко приврать. Но, может быть, он прав? Мы опять замолчали. По реке у противоположного берега проехала лодка. На ней горел огонь.

— Рыбу ловят, — сказал Андрей и, привстав, закричал: — Эй! Ловится ли?..

Звук его голоса прокатился над сонной рекой и, повторенный эхом, замер вдалеке. В ответ с лодки крикнули:

— Не ора, чорт, рыбу пугаешь...

Андрей засмеялся и, обращаясь ко мне, сказал:

— Поздно. Пошли спать!

## 6

Повсюду кипит работа. На дорогах встречаются подводы и грузовики, наполненные свежим зерном. Его везут веслами, с деснями, словно едут на свадьбу.



Нынешний год хороши хлеба. Говорят, что Павел Борисов, бригадир из Дубовки, собрал по семидесяти центнеров пшеницы с каждого гектара. Андрей подсчитал, что это выходит по четыреста двадцать пудов.

За Девичьей Балкой к нам в машину попросился механик МТС.

— Подвезите, ребята, — сказал он.

— Далечно?

— До Городища, домой.

Механик был черен от загара и пыли. Он, видимо, давно не брлся и весь зарос рыжеватой щетиной. От его выпветшей армейской гимнастерки густо пахло бензином и потом.

— Вот уж неделя, как дома не был. Грязь смою, переоденусь и опять в поля, — говорит он. — Все дела, — зона большая, шестьдесят девять колхозов обслуживаем и за всем доглядеть надо. Свой глазок — делу смотрок.

Механик оказался словоохотливым. Он рассказывал, что по полю загружен большой хлопотливой работой. Бывают недели, когда он мечется по району, следя за деятельностью тракторных отрядов, и в это время ему некогда побывать дома в семье.

— Жена глядит-глядит, да расчет даст, скажет: какой ты мне муж?

Он вынул трубку, набил ее табаком и, закурив, продолжал:

— Я поясню ей, что, мол, на мне ответственность за весь тракторный парк. А она свое: тогда бы, говорит, и женился на тракторном парке. Из армии, говорит, тебя два года ждала, а ты опять, как ясный месяц — покажешься не надолго и снова жди-дожидайся...

Он покачал головой и умолк. Но, видимо, молчать было не в его характере и, указывая потухшей трубкой на синевший вдалеке лесок, сказал:

— Вот тут история вышла. За той гривкой гатихинские поля начинаются. Весной получаем мы боевое задание — вспахать тридцать га под лен. Да так, чтобы и сроки выдержать и качество показать. Решили послать туда самого лучшего тракториста Федора Разоренова. У него ЧТЗ был. Трактор новенький, — и парень боевой. Третий год у нас работал и постоянно премии получал. Псехал он, и у нас душа спокойна: думаем, покажет класс... И что же — через два дня прибегают к нам из Гатихи и говорят: «Ушел тракторист».

— Не может быть!

— Да нет, — говорят, — ушел.

Мы с директором — туда. Действительно, нет тракториста. Вот это, думаем, номер. Подвел нас парень. Директор — горячий. «Я, говорит, немедленно в НКВД заявлю. Посадить его к чортовой матери за срыв посевной. Это, говорит, чистейшей воды саботаж и экономическая контрреволюция».

А у меня никак в голову не лезет, что Разоренов мог таким срывщиком оказаться. Однако факт налицо...

Механик снова вынул кисет, набил трубочку, но еще не успел

раскурить ее, как увидели мы велосипедиста, мчавшегося нам навстречу.

— Похоже из МТС, — вслух подумал механик, вглядываясь в велосипедиста, и попросил Николая: — Останови-ка на минутку.

Велосипедист уже поровнялся с нами и свернул на боковую тропочку, чтобы объехать фургон. Это был еще совсем мальчишка — загорелый, белозолосый и брови у него были похожи на два спелых колоска пшеницы.

— Ленька, ты куда? — крикнул ему механик, окончательно признав своего.

— Да я же за тобою, Иван Павлыч... Директор сказал, чтобы ты немедленно в Дубовку ехал. Звонили оттуда, что трактор встал.

— Ну вот, — и механик, ругаясь, выбрался из машины.

— А мы ведь думали — ты в отряде Кулинычева у Девичьей Балки, — сказал паренек.

Не слушая его, механик ворчал: «вот съездил домой, Иван Павлыч, помылся...». Он взял у посыльного велосипед и, обращаясь к нам, пожаловался:

— Вся жизнь в хлопотах да в неприятностях. Плюнул бы на все, да уж ладно, поеду. А его вы с собой захватите, — кивнул он на мальчишку.

— Садись, довезем, — согласился Андрей и подал посыльному руку.

Механик кивнул на прощание и тронулся в путь.

— Жалуетса, — усмехаясь, сказал паренек, — а жить без хлопот не может. Лютой на работу...

В Городище на краю села возвышалось новое кирпичное здание — ремонтные мастерские и гараж. В распахнутые настежь двери вырывался звон и скрежет железа. Дробно стучал молоток, тяжело ухали кувалды...

У самых ворот стоял трактор, возле которого деловито копшились рабочие. Мы остановили фургон, поздоровались с ними и сели отдохнуть, закурить. Николай побежал в мастерскую. В пути мы потеряли крышку от радиатора, и здесь шофер надеялся подобрать что-нибудь подходящее...

Рабочие тоже присели закурить и заговорили о работе тракторных отрядов. Все хвалили тракториста Кулинычева.

— Его отряд у Девичьей Балки работает? — спросил Андрей тоном человека, которому уже известно все.

— Там, — отозвалось сразу несколько голосов. — Кулинычев там.

— Но все-таки Федя Разоренов обгонит Кулинычева, — сказал кто-то.

— Не обгонит, — возразил мрачный пожилой рабочий и сердито пошевелил лохматыми бровями.

— Кто не обгонит, — резко спросил белобрысый паренек, который приехал с нами, — это Федя-то не обгонит?

— Постой-ка, — перебил Андрей, — а как же механик сейчас

нам рассказывал, что ваш Разоренов весной с работы сбежал и трактор бросил?

— Было дело, — подтвердил пожилой рабочий, заступавшийся за Кулинычева.

Тут заговорили все сразу, но больше всех петушился наш молоденький спутник:

— Разобраться надо что к чему. Механик-то вам, наверно, не до конца рассказал...

Тут мы и услышали историю тракториста Феди Разоренова. ... Весной Федя женился. От молодой, красивой жены его послали на пахоту за двадцать пять километров. Он скучал, вечерами вспоминал о ней, но работал вдвое прилежнее и даже, может быть, потому, чтобы быть в ее глазах героем...

Но вот на пашню пришел знакомый старик из родной деревни и по секрету сказал, что «баба погуливает».

— Они все такие, — говорил старик, — муж из ворст, а она только и смотрит, чтобы дружка завести...

Федор расстроился. Ему вдруг вспомнились все рассказы о хитрости и вероломстве жен, легко обманывающих мужей. Сделалось жалко себя: — «Работаешь, стараешься, — думалось ему, — а она там всякие штучки выкидывает»...

Правда, сначала он было не поверил старику, но тот божился, бросал шапку на землю и, размахисто крестясь, подтверждал:

— Это — верно. На месте застали! Теперь вся деревня только и говорит о том...

Ночью, попросив гатихинских колхозников постеречь трактор, Федор пошел в родную деревню.

Жены дома не было. Сказали, что она с вечера ушла к своим родителям помочь копать гряды, да видно заработалась дотемна и осталась ночевать.

Муж, терзаемый подозрениями, истолковал это по-своему.

До рассвета он просидел на крыльце, курил папиросу за папиросой, а утром, когда жена, войдя в комнату и увидев его, радостно бросилась к нему навстречу, Федор оттолкнул ее и излил всю накопившуюся горечь упреков.

Днем его видели в селе: он ходил в обнимку со вчерашним стариком, и оба они были заметно хмельны.

Но, оказывается, к вечеру он избил старика, вернулся домой, опять скандалил и ночью ушел в МТС.

А там волновались, на трактор назначили нового работника, и, когда Федор вернулся, — его попросту не допустили до работы. Директор грозился привлечь дезертира к ответственности. Но в дело вмешался парторг. Он долго беседовал с Разореновым с глазу на глаз, потом парторг ездил к Федору в деревню и в конце концов распутались узелки этой нехорошей истории.

Оказывается, жена и в мыслях не имела изменить своему Феде. Старика же подослал местный поп, соблазнив его тремя литрами водки. И старик и поп объясняли это желанием пошутить, но го-

ворят, что там, где следует, поп сознался, что цели у него были совсем иные. Во всяком случае, вместе с попом был арестован еще кто-то.

Поясняя эту историю, белообрый спутник наш сказал, очевидно, повторяя чьи-то слова:

— Они не только ломают машины и насыпают песок в подшипники, они ищут новых путей, чтобы вредить нам.

— А тракторист? — спросил Андрей.

— Дали ему строгий выговор. Ну, обещал загладить поступок. И вот старается. Кулинычева он все-таки перегонит.

— Наверяд ли, — упорно отстаивал пожилой, сторонник Кулинычева.

— Это ты потому, дядя Митя, говоришь, что Кулинычев тебе племянник, — возражал паренек, — а ты объективно, в корень гляди...

— Я-то в корень гляжу.

— А с женою он как? — спросил вернувшийся из мастерской Николай и с интересом слушавший всю историю.

— С женой помирили их. Парторг помирил. Он у нас человек очень душевный...

— Женщины народ-то уж очень капризный, — сказал Андрей и, взглянув на шофера, добавил: — Я это по опыту знаю.

— И мы хороши, — сердито сказал пожилой рабочий и, затоптав брошенный окурок, поднялся, — ну, ребята, работать, работать.

День уже клонился к вечеру, и облачко, появившееся на горизонте, нежно розовело в теплых лучах августовского солнца...

По дороге в золотой пыли мчались две грузовых машины, и на одной из них трепетал по ветру красный флаг.

— Хлебушек идет, — обронил кто-то, и от этой простой фразы всем стало весело, легко и приятно.

## 7

С полей уже убран хлеб. На колхозных токах гудят молотилки. Люди, работающие возле них, радостно возбуждены. Их лица густо покрыты пылью, только глаза горят, да в широких улыбках сверкают белые, как кипень, зубы.

По клеверищам разостлан лен. Кое-где уже начали выпаживать картофель... А мы все ездим из колхоза в колхоз. Только сеансы теперь начинаются раньше. На улицах по вечерам стало совсем свежо. Николаю прислали пальто из мягкой коричневой кожи. Оно очень идет к нему. Вот бы теперь поехать в Поляны!

Мы так и думали, что попадем туда к празднику урожая, но все получилось иначе...

В Ливенском колхозе «Великое поле» собрались стахановцы со всего района, и нас послали на этот праздник работников колхозных полей. Вот почему мы не попали в Поляны.

Но случаются же такие удачи: вчера перед началом сеанса мы увидели Настю Куликову. Оказывается, она тоже приехала на этот праздник. На ней была плюшевая жакетка и голубой берет. Она казалась веселой, а рядом с ней сидел молодой курчавый тракторист. Он угощал ее яблоками.

Во время сеанса наш Николай куда-то исчез, но потом вернулся и помогал нам убирать аппарат. Улучив минутку, я спросил у него:

— Ну, как, — получила она твои письма?

— Не знаю, — тихо ответил он и отвернулся.

Я ни о чем не стал расспрашивать, и некоторое время мы работали молча. Потом он сказал:

— А тракториста этого я знаю. Он весной подшипники расплавил.

— Едва ли, — усомнился я. — Ведь тогда бы его не послали на праздник стахановцев.

— Ты так думаешь?

— Да.

— Ну, все равно. Зато каждый шофер может работать на тракторе, а трактористу до шофера еще далеко.

Больше он не сказал ничего...

Утром председатель колхоза Александр Кочетов, высокий молодой мужичина, одетый по-праздничному в темносиний костюм, показывал гостям свое хозяйство. Гости прошли по скотному двору, побывали на свиноферме, заглянули в склады, колхозную электростанцию, кузницу, механические мастерские. Среди приезжих было много знакомых. Все они гуртом ходили за председателем, хвалили хозяйство, но не забывали при случае вернуть словечко, что, между прочим, и у них все это тоже имеется...

Был тут и Евсей Махов из Новоселья. Он особенно тщательно осматривал владения колхоза. Хозяйским оценивающим взглядом окидывал огромных розоватых свиней, восхищенно чмокал губами, любясь на сытого породистого жеребенка. В бане он попробовал краны с горячей водой, шумно потянул носом парной, пахнувший дубовым листом, воздух и крикнул:

— Важно!

Но окончательно Евсей расчувствовался в детских яслях в большом светлом доме, с виду похожем на училище. Здесь его поразили чистые голубые кровати, яркая зелень цветов и пестрота игрушек.

— А ведь я туточки недалеко в рабочих жил, — сказал он, — у Храповицкого барина. И сюда доводилось хаживать. Ой, посмотрелся я тогда, ребята, на горькую жизнь. Ай-ай-ай, как посмотрелся. Теперича от этого и следов не осталось. Однако только вам нехватает: садик бы завести. А уж мы по-соседски поможем вам дадим...

Обед для гостей был накрыт в голубом зале нового колхозного клуба. Две девушки в белых передниках разносили горячий борщ.

Перед борщом гости пропустили по стопочке, а кое-кто успел хлебнуть и пораньше, поэтому за столом было шумно и весело. Один старик все порывался что-то кому-то доказать и повышал голос. Сидевший по правую сторону у него чернобородый в синей ластиковой рубахе колхозник урезонивал:

— Ты ешь, ешь больше, Иван Константиныч.

— Нет, постой, — кричал старик, — наша вся семья стахановска. Невестка, матушка, подтверди, — обращался он к полной красивой женщине, сидевшей по левую руку старика. Женщина сердито и полушопотом говорила что-то...

— Знакомый мужик-ат, — пояснил нам Евсей Махов, сидевший рядом с нами — из Викулова. Работник — золотой, а на вино слабоват. А водочка-то, соколы мои, ой, как сильна.

Кто-то из обедающих просил, чтобы ему дали деревянную ложку: «Непривышно, рот обожжешь»...

За борщом появилось жаркое. Гости ели да похваливали искусство колхозного повара, тут-то им была рассказана следующая история.

Месяца три тому назад в жаркий июньский полдень в правление колхоза зашел молодой человек в полной военной форме. Вытянувшись, как полагается по уставу, он отчеканил:

— Разрешите обратиться, товарищ председатель.

— Пожалуйста, — любезно ответил Кочетов, — чем могу?..

— Я демобилизованный красноармеец, Евгений Бодров, прочел в газете вашу речь о колхозном изобилии и о том, что у вас недостаток рабочих рук. Поэтому хотел бы жить и работать у вас в колхозе.

— А что вы умеете делать?

— В армии я был поваром в столовой комсостава, надеюсь, что и на вас сумею готовить.

— Документы у вас с собой?

— Есть, товарищ председатель...

Евгений Бодров остался в колхозе. Документы у него оказались в порядке. Его оставили в артели пока вольнонаемным, а после месячного испытательного срока приняли в члены колхоза. Он оказался на редкость дельным и толковым работником.

— Вот этот самый комсоставский повар и постарался сегодня угостить нас, — закончил свой рассказ председатель колхоза.

После мы поближе познакомились с поваром. Это был еще молодой человек, судя по всему, шутник и весельчак. Евсей Махов все допытывался у него:

— А чего я у тебя, сокол, спрошу: как все-таки против городу колхозная-то жизнь — пожиже или то же на то же выходит?

— Кому как, папаша, — резонно отвечивал повар.

— Н-да. Стало быть, ничего, подходяща?

— По мне — замечательна. Я, папаша, тут новую квалификацию получаю — на комбайнера учусь.

— Это ты, сокол, дело удумал, — похвалил Евсей.

В зале уже убрали столы, собрался оркестр, кто-то лихо отплясывал, потом кто-то предложил спеть песню, и она потекла широкой, могучей рекой.

Глаза поющих были полузакрыты, а на губах блуждала улыбка. Я замечал, что так поют все люди, когда они поют с чувством...

Незаметно подползли ранние осенние сумерки. Зажгли свет, и в зале стало уютней. Казалось, что собрались здесь не чужие, не знакомые люди, а одна большая семья, живущая одними интересами, где радость одного — радует всех, и горе одного — всех же печалит.

Вечером из города приехали артисты. Был концерт.

А у Андрея открылся еще один талант: он показывал фокусы, всех рассмешил, и даже дошло до того, что Александр Кочетов начал уговаривать его: «Оставайся, парень, культурником, что тебе с машиной по селам блуждать?»...

Уезжали гости на другой день. Дальние — на машинах, на лошадях; ближние — пешком. Уехал кудрявый тракторист, ушла Настя Куликова.

Еще за обедом я заметил, что они переглядывались с Николаем, что порой по лицу ее пробегала лукавая улыбка. Но что означали эти взгляды, чему она улыбалась — я не знаю.

Весь вечер я не видел Николая, а ночевали мы в разных помещениях. Только утром он забежал к нам и сказал:

— Ребята, давайте попозже поедem. А?..

— Попозже, так попозже. — согласился Андрей и в свою очередь спросил: — Ремонтom, что ли, хочешь заняться?

— Да, надо бы, — смущенно пробормотал Николай. — Надо...

— Поможем.

— Нет, нет... Я уж лучше один. Вы только мешать будете.

— Один, так один. — опять согласился Андрей.

Я вышел вслед за шофером, догнал его и, взяв под руку, спросил:

— Ну?

Он, видимо, сразу догадался и ответил:

— Получила... Только, извини меня, — я тороплюсь.

И он убежал. Очевидно затем, чтобы проводить Настю. Ведь до Полян тут всего каких-нибудь десять километров!

Мне тоже захотелось побродить. Через первый прогон я вышел из деревни, свернул с дороги и углубился в рощу. Золото осени шуршало под ногами. На кочкare краснела брусника. Надо мной пламенно трепетал синицик, озаренный жаркими лучами сентябрьского солнца...

Я медленно брел вдоль опушки. Было тихо. Только где-то очень далеко дятел долбил кору и, словно отвечая ему, в селе на электричке ритмично попыхивал дизель.

Выйдя вновь на дорогу, я услышал голоса. Они мне показались знакомыми. Так и есть: это Евсей Махов и конюх здешнего колхоза Федя Гусев, коренастый сивобородый старик. Они шли не

торопясь, как идут люди, закончившие большую, трудную работу: дело сделано, и торопиться, пока некуда.

Любопытство вспыхнуло во мне. Мне захотелось послушать, о чем говорят эти старики. Они приостановились, встал и я, хоронясь за ветвистым кустом можжевельника.

— Теперь вот Кольку в армию отправлять будем, — говорил дядя Федя низким густым баском, видимо продолжая уже давно начатый разговор. — Это четвертый у меня, Иван и Сергей отслужились. Ничего, не посрамили семейство. Ваня-то механиком в колхозе работает, а Серега — шофером. Лихо ездит. Только все в город рвется... Что ж, где кому лучше. Да... А теперь вот четвертого ютдаю. Ну, и на этого надеюсь. С охотой идет.

— Нынче уж все так-то, — поддакивал Евсей.

— А как же, свое защищать, свое беречь...

— Свое, — задумчиво повторил Евсей, и оба они на минуту умолкли.

Махов первым прервал молчание:

— Смолоду я все счастье искал, — говорил он. — Невмоготу стало в родных местах маяться и решил я на Украину податься. Услыхал, что там земля хлебородная и люди сыто живут. Пошел. Все одно горько. Все одна и та же польня растет. Дальше решил подаваться, думаю, найду свое место. До самого Черного моря шел. Где приработаешь, где Христа ради попросишь.

Раз так-то вот — в Воронежской губернии было дело — пристроился я к кузнецу. Работа известно какая — сошники, палицы, отвал для плужка, втулку заварить, подоску оттянуть, не хитро, а тяжело. Ладно. Неделю работаю у него, другую работаю. Сдавать стал — жила тонка. Нет, думаю, дальше надо идти. Может, что лучше найдется. Так и так, говорю, хозяин, давай расчет. «Что ж, — говорит, — денег у меня нет, бери, ежели хочешь, сошников пару. Продашь где-нито».

Положил я эти сошники в суму и тронулся дальше, куда большак приведет. А дело осеннее, дорога плохая, смаялся за день, проголодался — страсть как. К вечеру уж пришел в большое село и выглядываю, заметь, избу побогаче — дескать, продам свои сошники. Гляжу, супротив церкви стоит пятистенник. Окошко одно открыто, и видать хозяин сидит. Подошел я, снял шапку: «Не купишь ли, — говорю, — хозяин, сошники?» — «Что за сошники? Какие?» — говорит. — «Обнакновенные». — «А ну, — говорит, — заходи во двор».

Зашел я. Двор широкий, ладный. Видать, богато живут.

Развязал я мешок, показываю хозяину сошники. Он повертел их в руках и спрашивает: «Что просишь?» — «Да, — говорю, — полтинничек, если не обидно. Поиссарчился: ни хлеба, ни денег». Тут он вроде как удивился да и говорит: «Полтинник? А где ты взял эти сошники? Меня, слышь, не проведешь — ворованные сошники... Хоть в управу сведи?» — «Нет, — говорю, — не воровал я». — «А кто тебе поверит?.. Вот что: моли бога, что на меня на-



пал, а не на другого. Дамя тебе пять фунтов подсолнечного колоба и ночуй у меня, а утречком шагай себе с богом. А не хочешь, — придется в управу итти».

— Что тут будешь делать? — Евсей развел руками и горько улыбнулся. — Потащит в управу, а там, пока разберутся, горя натерпиться. Ладно, думаю, подавись ты моими сошниками. Да еще, признаться, надежда была — дескать, покормиться удастся.

Остался я ночевать. В скорости хозяева ужинать сели. Думаю: вот сейчас и меня позовут. Нет, не зовут. Смотрю я, как едят они, и казнь. А тут хозяйка свежий хлеб принесла. Дух от него — кажись, я не слыхивал лучше. Да... Поужинали, встали из-за стола и хозяйка объедки в локанку сваливает. Не выдержал я, говорю: «Хозяюшка, покорми Христа ради». Повела она этак на меня глазами и отвечает: «Много вас шляется. Всех не накормишь». И вынесла хлеб-то в сенцы на полку, покрыла его рушничком...

Потом кинула она мне веретье в сенцы. Лег я, а заснуть не могу. Больно уж хлеб-то хорошо пахнет. Ну, никак не могу заснуть! Хозяин ночью раза два просыпался, на двор выходил. Заметил я, как он дверь запирает, и пала мне думка такая: утащить хлеб-от. Да... Я потихоньку нашарил ковригу, отпер дверь, да с крыльца-то как сигану, да на зады, да по загуменью. Откуда рысь взялась. Тут еще на беду собаки залаяли. Бегу, а у меня душа так и трепыхается, так и трепыхается... Верстов десять пробежал, уж рассвет обозначаться начал. Тут увидел я в поле кусток, забрался в сено-то, отдышался маленько и за ковригу принялся. Ну, поверишь ли, никогда, кажись, ничего слаще не ел... Только после на душе уж, больно нехорошо стало. Впервой пришлось на чужое решиться... Я об этом случае никому не говорил, тебе первому исповедался.

Старики помолчали. Обоим им видно неловко было от этой исповеди и, прерывая тягостное молчание, дядя Федя сказал:

— Не ты унес, нужда твоя унесла.

— Да, брат, а кабы не нужда-то...

— То-то и есть. И вспоминать о том нечего. Другая пора пришла. У меня и то Колька стих читал: «Веселая пора, — говорит, — очей очарованье».

Я улыбнулся и вышел из-за куста:

— Не так, дядя Федя, ты спутал: «Унылая пора, очей очарованье...».

— А ты почему знаешь? — строго спросил конюх.

— Знаю. Это Пушкин писал про осень.

— Пушкин? — переспросил он. — Ну, так и есть!.. — И, обращаясь к Евсею, пояснил: — Пушкин! Так ведь он сто лет уж как помер. Жизни он нашей не видал, а то так бы и написал, как я говорил, потому что жизнь того требует.

— Справедливо, — согласился Евсей, — так бы и написал. Умел человек жизнь подмечать... А чего я тебя, сокол, спрошу?

Ты куда шел-то?

— Да так, — ответил я, — гуляю.

— Ну и гуляй себе, сокол, а мы, старики, что же тебе за кампания?..

Действительно, не стоило мешать их беседе, и я снова иду по засохшей траве, и снова осеннее золото шуршит и звенит у меня под ногами. Гроздья калины рдеют на ветках, шустрые синицы перепархивают в кустах...

## 8

Вот и кончилось лето... Освещенный закатом, идет наш фургон среди голых полей и поблекших берез. В небе проносится трехгольщик гусей, откуда-то тянет дымком и печеной картошкой.

Скоро уж ветер, а скоро и совсем кончатся наши поездки.

— У меня это последний рейс, — говорит Николай. — В Полянах покупают полторатонку, и я думаю пойти туда шофером.

— Неужели? — то ли спрашиваю, то ли одобряю я.

— Да, теперь это уже решено.

«Вот и кончилось наше лето, — думаю я. — Николай уезжает в Поляны, Андрей в институт кинематографии, — он все-таки хочет стать кинооператором, — а я? Что буду делать я?..»

Говорят, в городском кино есть вакантное место киномеханика. Я устроюсь туда, И, может быть, к нам в театр когда-нибудь зайдет одна девушка, студентка медицинского техникума, белокурая, с голубыми глазами...

Так я и сделаю.

Дорога идет берегом Клязьмы. Река посинела от холода. Она приобрела какой-то матовый, свинцовый оттенок. Осень, осень. Низко ползут серые тучи, медленно падают листья с берез. Порывистый ветер подхватывает их и кружит в воздухе. Осень, осень...

Но какое мне дело до этого? Мне двадцать три года, я знаю, что встречу с ней, — на душе у меня весна!

Крым, Ялта.

Март 1939 года.

## Т. Г. ШЕВЧЕНКО

*125 лет со дня рождения великого украинского  
поэта-демократа.*

### ЗАПОВЕДЬ

Как умру я, закопайте  
Вы меня в могиле  
На кургане, в степи вольной  
Украины милой.  
Чтоб родных полей раздолье,  
Днепровские кручи  
Были видны, было слышно,  
Как ревет ревучий.  
Как помчит он с Украины  
Вдаль, в синее море  
Кровь врагов... И вот тогда я  
И поля и горы —  
Все покину, полечу я  
К богу, уповая,  
С молитвою... До этого  
Я бога не знаю.  
Схороните и восстаньте,  
Кандалы порвите.  
Злою вражескою кровью  
Волю окропите.  
И меня в семье великой,  
В семье вольной, новой,  
Не забудьте, помяните  
Теплым, тихим словом.

## ТАРАСОВА НОЧЬ

Сидит кобзарь у дороги,  
На кобзе играет.  
Кругом девушки и парни,  
Как мак, расцветают.  
Он играет, подпеваает,  
Говорит словами:  
Как татары и поляки  
Бились с казаками,  
Как собирались в воскресенье  
Поутру казаки,  
Как товарища зарыли  
В глухом буераке.  
Он играет, подпевая,  
Сам горько смеется:  
— Была вольность у казаков,  
Да уж не вернется.  
Были вольными людьми,  
Да больше не будем,  
Но былой казацкой славы  
Вовек не забудем.  
Украина, Украина,  
Мать моя родная!  
Как я вспомню твою долю,  
Сердцем зарыдаю.  
Где же прежняя свобода,  
Красные кафтаны?  
Куда скрылась доля-воля,  
Бунчуки, гетманы?  
Где пропало все? Сгорело?  
Или затопило  
Сине море твои горы,  
Курганы-могилы?  
Молчат горы, плещет море,  
Тоскуют курганы,  
Над казацкими детьми  
Командуют паны.  
Играй, море! Буйный ветер,  
Гуляй в чистом поле!  
Казацкие дети, плачьте, —  
Плакать ваша доля!  
Встает туча от Лимана,  
А другая с поля,  
Запечалилась Украина —  
Печаль ее доля.

Запечалилась родная,  
Как дитя, рыдает.  
За нее никто не бьется,  
Воля погибает.  
Гибнут родина и слава,  
Тяжко жить на свете.  
Растут некрещенными  
Казацкие дети.  
Живут люди без венчанья,  
Без попов хоронят,  
Продана торговцам вера,  
Прочь от церкви гонят.  
Налетели на Украину  
Паны, униаты,  
Как грачи, и никого нет  
Дать отпор проклятым.  
Отозвался Наливайко —  
Гибнет с войском в поле.  
В бой пошел Павлюк — настигла  
Его та же доля!  
И откликнулся Трясило  
С горькими слезами:  
Моя бедная Украина  
Стоптана панами.  
Спасать родину и веру  
Порешил Трясило.  
Помнят паны, как крушил их  
Орел сизокрылый!  
И сказал Тарас Трясило:  
— Горевать не время,  
Братья, в бой пойдём с панами  
За родину все мы.  
Уж не три дня, не три ночи  
Бой ведет Трясило —  
От Лимана до Трубайла  
Трупы степь покрыли.  
Изнемог Тарас Трясило  
И в тоске томится,  
А проклятый Конецпольский  
Буйно веселится,  
Всех панов на пир собрал он,  
Чарками обносит.  
А Тарас собрал казаков  
И совета просит:  
— Товарищи, атаманы,  
Братья мои, дети!  
Что нам делать, как нам биться, —  
Жду от вас совета:

Наши вороги пируют,  
Гибель нам готовя.  
— Пусть пируют, веселятся,  
Пусть их, на здоровье!  
Пусть проклятые пируют,  
Пока солнце светит.  
Ночь совет нам даст, и паны  
Нам за все ответят.  
Скрылось солнце за горою,  
Звезды засияли,  
И казаки, точно туча,  
Панов окружали.  
А как месяц стал средь неба,  
Пушки загремели:  
Отрезвились поляки,  
В страхе онемели.  
Хоть проснулись враги-паны, —  
Да так и не встали...  
Взошло солнце — трупы панов  
Грудами лежали.  
И змеей кровавой Альта  
С этой вестью мчится,  
Зовет воронов голодных  
Трупам кормиться.  
Будят вороны вельможных, —  
Да не добудиться.  
Собиралися казаки  
Богу помолиться.  
Закаркали вороны,  
Клюют панам очи.  
Загремела песнь казацкая  
Славу этой ночи,  
Ночи грозной и кровавой,  
Что славой покрыла  
Тараса, казачество, —  
Поляков могилой.  
Над рекою, в чистом поле,  
Курганы чернеют.  
Там, где кровь текла казачья,  
Трава зеленеет.  
Сидит ворон на кургане  
И с голода карчет.  
Вспоманет казак бывшее,  
Вспомнит и заплачет!  
И умолк кобзарь, печальясь:  
Руки не играют.  
Кругом девушки и парни  
Слезы вытирают...

И пошел кобзарь, да с горя  
Вдруг как заиграет!  
Парни все пошли вприсядку,  
А он подпеваёт:  
— Пускай будет, как когда-то,  
Грейтесь на печи, ребята.  
Я с тоски в кабак пойду,  
Женку там свою найду,  
Жену угощу вином,  
Посмеюся над врагом.



Расти, расти, моя птичка,  
Маков цвет омытый.  
Развивайся, пока сердце  
Твое не разбито.

Пока люди не узнали  
Тихую долину,  
А узнают, поиграют,  
Засушат и кинут.

И ни годы молодые  
С юной красотой,  
И ни глазки, что омыты  
Чистою слезой,

Ни девичье твое сердце,  
Доброе такое,  
От глаз жадных, ненасытных  
Не спасут, не скроют.

Найдут бедную, ограбят —  
Не спастись от злого!  
Кинут в ад, измучишься  
И проклянешь бога.

Не цветы, мой цветик чистый,  
Цветик нераскрытый,  
Завянь тихо, пока сердце  
Твое не разбито.



Ой, взгляну я, посмотрю я  
На степь и на поле.  
Может даст бог милосердный  
Хоть под старость волю?  
Я пошел бы на Украину  
К домику родному.  
Там приветят, будут рады  
Старику больному.  
Отдохнул бы хоть немного,  
Позабыв невзгоды...  
Там бы я... Да скверно, гадко —  
Не дадут свободы.  
Как же буду жить в неволе,  
Жить, надежд не зная,  
Научите, добры люди,  
Иль сойду с ума я.  
Орская крепость. 1848 г.



И как за подати нужда,  
Здесь, на чужбине, обступили  
Тоска и осень. Боже милый,  
Куда мне спрятаться, куда?  
Что делать мне? Уж и гуляю  
Я по Уралу, и пишу  
Стихи украдкою, грешу.  
Бог знает, что ни вспоминаю,  
В своей душе перебирая.  
Описываю, чтоб печаль  
Не рвалась, как жандарм-москаль,  
Мне в душу. Как лихой злодей,  
Врывается — нет сладу с ней.  
Кос-Арал. 1848 г.



## ПРОРОК

И точно праведных детей,  
Господь, любя своих людей,  
Послал на землю им пророка  
Свою любовь благовестить,



Святую правду возвестить!  
И точно Днепр родной, широкий,  
Слова его лились, текли  
И падали в сердца глубоко,  
И пламенем незримым жгли  
Сердца замерзшие. Любили  
Пророка люди и ходили  
За ним, и горько слезы лили.  
А потом! Они и подло и лукаво  
Господнюю святую славу  
Растлили... И чужим богам  
Позорной жертвой осквернились.  
Святого мужа... Горе вам!  
На стогнах камнями побили.  
И праведно господь великий,  
Как на зверей свирепых, диких,  
Он цепи повелел ковать  
И тюрьмы мрачные копать.  
Вам, род и лживый и жестокий,  
Заместо кроткого пророка, —  
Царя он повелел избрать!

Кос-Арал. 1848 г.



## СОН

На барщине пшеницу жала,  
Измучилась, — не отдыхать  
Пошла походкою усталой —  
Сынка кормить и укачать.  
Кричал спеленутый ребенок,  
В тени укрытый, под снопом.  
Распеленала, поиграла,  
И покормивши, будто сном,  
Над сыном сидя, задремала,  
И снится ей: ее сынок,  
Ивась, — красивый и богатый,  
Уже просватанный, женатый  
На вольной, мукам кончен срок.  
Не крепостной и сам, на воле  
И на своем веселом поле —  
С женой себе пшеницу жнут,  
А детки им обед несут.  
Сон на уста улыбку гонит —

Проснулася и ничего нет!  
Взглянула на сынка, опять  
Его запеленала. Быстро,  
Чтобы закончить до бурмистра,  
Пошла участок дожинать.

1858 г.



На что сдалися вам цари?  
О, люди бедные, на что же,  
На что сдалися вам псари?  
Вы — не собаки, люди — тоже!  
Ночь, гололедица и мгла,  
Снег, холод. А Нева несла  
Под мостом тихо тонкий лед  
Куда-то сквозь туман вперед.  
Бесцельно в ночь и я иду,  
И душит кашель на ходу.  
Смотрю: толпа худых девчат,  
Как стадо маленьких ягнят,  
Идет. За ними хилый дед,  
Дед-инвалид, чуть ковыляет,  
Как будто в хлев он загоняет  
Чужое стадо. Где же свет?  
И где же правда? Горе, горе!  
Детей голодных, голых, хворых  
Погнали, как свец отару,  
Чтобы последний долг отдать  
Той, что не заменила мать.  
Когда же суд, когда же кара  
Здесь на земле царям, их детям?  
Иль правды средь людей не встретишь?  
Должна быть! Солнце лишь взойдет,  
Всю скверну на земле сжжет.

*Переводы М. Бритова.*

1860 г.



Когда б вы знали, господа,  
Где плачут люди, вы б тогда  
Своих элегий не слагали  
И бога зря не восхваляли,  
Смеясь на скорбь людей труда.  
За что, не знаю, называют  
У леса хату тихим раем  
Я в ней страдал когда-то сам.

Мои упали слезы там,  
Ребячьи слезы. Я не знаю,  
Лютей у бога есть ли зло,  
Чтоб в эту хату не вошло.  
А хату раем называют.  
Нет, я не называю раем  
Ту хаточку у леса, с краю  
Родного моего села.  
В той хате мать мне жизнь дала  
И, пеленая, напевала —  
В свое дитя переливала  
Тоску великую свою.  
В той хате у леска, в раю,  
Я ад увидел. Там забота,  
Неволя, тяжкая работа  
Вздохнуть свободно не дают.  
Там мать добрую мою  
Еще до старости — в могилу  
Нужда и горе уложили.  
Отец мой, плача над детьми  
(Мы были и малы и голы),  
Не вытерпел суровой доли,  
Погиб на панщине. А мы —  
Мы, как мышата, меж людьми  
Порасползлись, бедняги. В школе  
Носил я воду школярам,  
Братья на панщину ходили,  
Покуда лбы им не забрили.  
А сестры! Сестры? Горе вам,  
Мои голубки молодью!  
Живете для кого? Увы,  
Росли вы в людях, всем чужие,  
Жизнь косы выбелит густые,  
Но в людях и умрете вы!  
Я ужасаюсь, вспоминая  
Ту хату на краю села.  
Такие, боже наш, дела  
Творятся жителями рая,  
Мы пламя ада в рай свели,  
Да ждем еще другого рая.  
Мы мирно с братьями живем:  
На братьях пашем чернозем  
Поля слезами поливая.  
А может быть и то... Не знаю,  
А кажется, все сам еси...  
(Ведь, без твоей, без божьей, воли  
В раю мы не были бы голы).  
Ты, может, сам на небеси.

Смеешься, батюшка, над нами  
Да держишь уговор с панами,  
Как править миром? Глянь с небес:  
Вон зыблется зеленый лес,  
Вон около него сверкает  
Прудок волнистым полотном,  
А вербы, стоя над прудом,  
Тихонько в нем листву купают  
Ветвей зеленых. Правда, рай?  
А приглянись да разузнай,  
Что там творится, в лоне рая?  
Конечно, радость и хвала  
Тебе, безгрешный царь творенья,  
За дивные твои дела.  
Не тут-то было! Не хваленя,  
А кровь, да слезы, да хула,  
Хула всему! Нет, нет! Не свято  
То, что земле тобой дано.  
Мне чудится, что и тебя-то  
Мы, люди, прокляли давно!

Оренбург, 1850 г.

—О—

Ту золотую, дорогую  
Мне, чтобы знали вы, не жаль  
Былую пору молодую.  
Но иногда в душе печаль  
Такая встанет, что заплачу.  
Еще больней, когда впридачу  
Увижу паренька в селе.  
Листок, гонимый по земле, —  
Он, одинешенек, под тыном  
Сидит в поношенной холстине.  
Мне кажется, что это — я,  
Что эта молодость — моя.  
Мне думается, что доколе  
Он дышит, — не увидит воли,  
Заветной волюшки; что так  
Бесследно, даром пролетят  
Все лучшие его лета;  
Что он не будет ведать с детства,  
Куда в огромном мире деться,  
Пойдет внаем — и в цвете сил,  
Чтоб он не плакал, не прустил,  
Чтоб где-нибудь нашел приюта,  
Его в солдаты отдадут.

Кос-Арал, 1849 г.

•••

Ой, одна я, одна,  
Как былиночка в поле.  
Не дал счастья мне бог,  
Ой, ни счастья, ни доли.  
Только дал мне господь  
Красу, карие очи.  
Я их выплакала  
В одинокие ночи.  
А ни братчика я,  
Ни сестрички не знала.  
Меж чужими возросла —  
Никого не ласкала.  
Где же суженый мой?  
Где вы, добрые люди?  
Их все нет. Я одна,  
И дружка не будет.

*Переводы Д. Семеновского.*

С.-Петербург, в каземате. 1847 г.

\*  
\*\*

Мне безразлично, где ни жить:  
В снегах чужбины или дома,  
Пришлют ли мне привет знакомый,  
Иль постараются забыть —  
О том не стану я тужить.  
В неволе рос я меж чужими  
И, не оплаканный своими,  
В неволе горестной умру.  
И все с собою заберу.  
Ничем себя я не прославлю,  
Живого следа не оставлю  
На нашей — не своей земле.  
Старик-отец не скажет сыну:  
«Не забывай, молись о нем:  
Он за родную Украину  
Замучен был в краю чужом».  
Мне все равно — молиться будут  
Или не будут обо мне:  
Про все услышу, как во сне...  
Когда ж отчизну злые люди  
Вконец ограбленную губят,  
Сжигают в пепел на огне —  
О, нет! Не безразлично мне!

С.-Петербург, в каземате. 1847 г.

Для чего жениться буду?  
Для чего венчаться?  
Чтобы стали надо мною  
Кзаки смеяться?  
Скажут: «лучше б не жениться  
Гольтьбе несчастной;  
Только жизнь чужую, глупый,  
Загубил напрасно».  
Так-то так. Но что же делать?  
Научите люди!  
Не пойти ль на вас батрачить?  
Может легче будет?  
Нет, не буду я спибаться  
Над чужою шивой,  
Да волов пасти, да теще  
Кланяться сварливой.  
А я буду красоваться  
В голубом кафтане  
На коне лихом и добром  
Перед казаками.  
И жену себя добуду  
Я на Украине —  
Одинокую могилу  
При степной долине.  
На веселую пирушку  
Придут не чужие —  
С самопалами да с песней  
Друзья боевые.  
Понесут они героя  
В новую светлицу,  
Вынут порох, не жалея,  
Из пороховницы.  
Как положат атамана  
В терем тот досчатый,  
Громче матери заплачут  
Выстрелов раскаты.  
Разве кто еще дождется  
Веселей помину!  
Прогремит большая слава  
На всю Украину.

Кос Арал. 1849 г.

## ЮРОДИВЫЙ

Во дни фельдфебеля-царя  
Капрал Гаврилович Безрукий  
Да пьяный унтер Долгорукий  
Украиной правили. Добра  
Они не мало натворили,  
Людей не мало оголили  
Сатрапы эти, унтера.  
А сам Гаврилыч так старался  
С ефрейтором своим лихим,  
Так над народом издевался,  
Что царь-фельдфебель любовался  
И был всегда доволен им.  
А мы молчали, гнули шею,  
Чесали драные чубы,  
Мы — безответные рабы,  
Подножки царские, лакеи  
Капрала пьяного! Не вам,  
Носящим пышные ливреи,  
Доносчики и фарисеи,  
Помочь измученным рабам!  
Не вам за правду стать святою  
И за свободу! Вы другую  
Науку выбрали себе:  
Вы распинать старались брата,  
А не помочь его судьбе.  
Когда ж ты вымрешь, род проклятый?  
(Пора бы, кажется, давно!)  
Когда дождемся дней свободных?  
Законов праведных — народных?  
Мы их дождемся, все равно!  
Не сотни вас, а миллионы  
Давил фельдфебель разъяренный,  
Давил Безрукий, тот капрал —  
Вас, земляков моих несчастных,  
И ваших дочерей прекрасных  
Прохвостам пьяным отдавал!  
Вам — только плакать. Но меж вами  
Нашелся все-таки казак,  
Оригинал такой, смельчак,  
Что, выбрав случай, даже в храме  
Капрала в морду угостил,  
Сорвал всю горечь на собаке...  
А после весть об этой драке  
Народ по свету распустил:  
Как свинопас, отважный малый,

По сытой морде бил капрала,  
И что капрал в постелю слег...  
Но вы, пока не встал с постели  
Злодей, недужился пока, —  
Назвать юродивым посмели  
Того героя-казака,  
Святого рыцаря! А гневный  
Фельдфебель ваш, Сарданапал,  
Его на каторгу сослал.  
Заботой царской повседневной  
Капрал побитый был согрет  
И вознесен. И скоро свет  
Забыл молву свою. А я...  
О, ясная заря моя!  
Моя отрада в горькой доле!  
Ведешь ты из тюрьмы, неволи  
Певца в суровые края,  
Как раз ведешь меня, сверкая,  
В зловонный омут Николая.  
Ты светишь и горишь над ним  
Огнем невидимым, святым,  
Животворящим, а из гноя  
Встают столпом передо мною  
Царя кровавые дела...  
Безбожный царь, источник зла,  
Свободных дум палач жестокий!  
Что на земле наделал ты!  
А бог — всевидящее око —  
Смотрел спокойно с высоты.  
Как сотнями в неволю гнали  
В цепях подвижников святых,  
Как вешали и распинали —  
Он — этот бог — смотрел на них  
И не ослеп! О, божье око!  
Не очень видишь ты глубоко!  
Ты спишь в киоте золотом,  
Когда цари... Но я не стану  
И вспоминать царей поганых!  
(Пусть только цепи снятся им...  
А я пойду к местам глухим:  
К далекой, беспредельной шире,  
В тайгу холодную Сибири;  
Седой Байкал перешагну,  
С любовью братской загляну  
В ущелья, в каменные горы,  
В вертепы темные и норы,  
Без дна глубокие, и вас,  
Поборники великой воли,



Из тьмы, из смрада, из неволи  
Всему народу напоказ  
На свет вас выведут рядами,  
За правду скованных цепями...

*Переводы А. Благова.*

Нижний-Новгород, 1857 г.

## Д А Р

День устал и подернулся сумрачной грустью.

С поля, за которым стояли волшебные скалы зари, потянулись пахари к затихшей в сумерках Шмелевке.

За вороной круглой лошадкой шел худой белокурый парень. У околицы он запел старинную жалостную песню: «Вспомни речі полюбовные и обет любить по гроб».

Лошадь, заслышав знакомый голос, мотнула головой и сбавила шаг.

— Тише! Слышите — Захарка запел.

— Опять Анисью тревожит.

— Извелась совсем баба, исхудала, ест не в аппетит.

— Хоть бы пел не любовные.

Так переговаривались на завалинке, прислушиваясь к песне Захара Чадкова.

Голос его славился во всей нашей глухой стороне.

На деревне жалели Захара. Прошлым летом умер его отец, а осенью братья разделались. Старший брат взял себе срубы, корову, овец, а Захару досталась лошадь да старые чадковские «хоромы». Зимой Захар хотел жениться на красивой девушке Анисье, но ее отец выдал в более достаточный дом Воронинных.

Ефим Воронин много раз каялся, что пошел наперекор чужой любви, казнясь вечной задумчивостью и ледяными ласками жены.

Захар пел, медленно шагая по улице.

Притихло все в Шмелевке, прислушалось к захаркиной песне. Шмелевский сапожных дел мастер Иван Тимофеевич Кочкин высунулся по пояс из окна.

На избенке Кочкина висит вывеска, написанная прохожим маляром:

«Новые шью, старые ушиваю, каблуки подбиваю, сапожник из города Столицы Иван Тимофеев Кочкин».

Сбоку нарисован черный сапог, очень похожий на обгорелый пень.

— Зайди! — крикнул Кочкин Захару, — давно не видались.

— Да-адно. Вот лошадь уберу.

— Жду!

Захар пришел вскоре, смущенно подал руку и застенчиво улыбнулся.

Небольшой, бойкий Иван Кочкин принял юного друга приветливо. Тряхнув кудлатой с проседью бородежкой, он кивнул на скамью.

— Присаживайсь. Будь, как дома... Тут стесняться нечего.

Молоток, колодки с кожей он отодвинул в сторону и сказал:

— Для друга выпрягай из плуга. Я, брат, так своего дружка люблю, что за тебя последний кусок хлеба... сам съем. Да мы с тобой, кажется, не только друзья, но и сродники. Ведь наша-то Марина вашей Катерине двоюродная Прасковья.

— Да, родня близкая, — в тон ему откликнулся Захар, — наши отцы на одном солнышке онучи сушили. — Он взял с верстака несколько обрезков старой кожи и, рассматривая их, спросил:

— Что — плоха у тебя работенка-то, из хлама подвенечные башмаки девке шьешь?

— Не работа дорога, а уменье. Ты вот мне скажи — куда земля девается, когда кол вбивается.

— Уминается.

— Ишь ты — догадливый!.. Догадлив царень: на крутую кашу распоясался. Каши-то у нас нет, так мы самоварчик поставим. Пить у друга воду, слаще меду, — балагурил Кочкин, уставляя самовар под печную отдушину. — Всякая живая душа калачика хочет. Ну, мы с тобой на калачи еще не заработали, поедим огурчиков с хлебом. Хлеб-то ведь калачу родной дедушка. — Размяв приятным разговором душу, Захар запел. Пел он тревожную песню. Голос его знал все волшебные извивы, что сладко щемят сердце. Иван Тимофеевич робко подтягивал ему густым, складным баском.

Но вот песня кончилась. В избе тишина.

— Экий, брат, у тебя дар, — очнувшись, проговорил Иван Тимофеевич, — будто песня сама из горла льется.

— Ты тоже певец хваткий: сам крошечный, а голосище, как у дьякона.

— Мала птичка соловей, да на весь лес гремит. Если бы я помоложе был, так за сапожным верстаком сидеть не стал бы...

— Вот! — подхватил Захар. — Кабы я был сыном доктора или агронома, так в певцы бы вышел, по городам в театрах пел бы. Так бы голосом и кормился, а то я бедняцкий мужик — куда я двинусь.

— Надо бы, Захарушка, похлопотать.

— Не знаю как...

— Несмел ты, а надо смелым быть, — вразумлял его Кочкин. — Смелому горох хлебать, несмелому и редьки не видать. Кто смерти не боится, невелика птица, а кто жизнь полюбил, тот страх загубил. Вот жизнь надо любить и своего добиваться. Тебе надо

учиться по-культурному петь, в город ехать. Избач в Колесникове мне сказывал, что училища такие есть, в которых петь учат по нотам... Ноты он мне показывал — такие кружочки с палочкой, в виде маленькой ложки. Вот туда и надо норовить, да поскорее, а то упустишь время, постареешь, водку выпивать станешь — голос хрипотой и лодернет. До крестьянства ты не жаден, в бедняках так и проходишь. Скопишь домик, что ненадобен тебе будет и замок.

\*\*

Вскоре Кочкину случилось быть на волостном съезде Советов. Здесь заведующий уездным отделом народного образования, бритый круглолицый человек в больших очках, делал доклад.

Кочкин решил высказаться в прениях первым.

— Вот у нас, товарищи, — заговорил Кочкин, — в деревне у одного парня голос замечательный. Поучить бы его... в певцы. Такой, понимаете, голос, что слезу вышибает.

— Это, гражданин, не по вопросу, — заметил председательствующий, полнощекый, рыжебородый мужчина.

— Как это не по вопросу? — вскинулся на него Кочкин. — А ежели у меня наболело. Ты еще не знаешь, что я хочу сказать. У всякого словца ожидай конца, не круто начинай, да круто кончай... Нет талану, не пришьешь к сарафану, а у этого парня талан есть и он ходу просит. Парня учить надо и развитию голоса и всякому знанию. Он и грамоте не особенно свычен, так только мерекает или, как говорили встарину, — писать-то пишу, а читать-то в лавочку пишу.

— Ближе к делу, — заметил председатель.

— Ничего, ничего, говорите, товарищ. Он интересно говорит, — сказал заведующий уездным отделом народного образования.

— Вот вы все понимаете, — обрадовался Кочкин, — вам и поведать интересно. Что я длинно говорю, так это не беда. Красно поле пшеном, а беседа умом. Доброе слово в жемчугах ходит, а для поговорки один наш мужик из Шмелевки в Москву пешком ходил. Вот товарищ из уезда — он понимает, у него видать глаза не вразбежку и мозги не набекрень, — подластился он к приезжему и тут же кольнул председателя: — А тебе все скорее, да торопом.

Кочкин перевел дух и пространно рассказал, какой у Захара Чадрова из деревни Шмелевки дивный голос. В его голосе есть дар природы, дар властный и пленяющий, вместе с его песнями поет душа.

В увлечении Кочкин упомянул даже о несчастной Анисье, все больше блекнувшей от неутоленной любви к певцу.

— Голос важный, что и говорить, — подтвердили крестьяне.

— Вот у меня зять, — сказал один из них. — Так он стишки хорошо складывал. В Красной Армии начальство слушало — ахало, до нутра слишком пробирал. Кончил службу — его в низерситет. Теперь учится.

— Граждане, к порядку.

— Пусть зайдет завтра, — сказал Кочкину приезжий, — послушаем его, выясним... Если голос очень богатый, пошлем учиться...

Поерзав на стуле, Кочкин подумал: «кто сам собой не управит, тот и другого не поставит» — и решил сейчас же шагнуть в Шмелевку, а завтра спозаранку идти с Захаром обратно в волостное село Колесниково.

На другой день они по утренней прохладе пришли в село и на крыльце волостного совета сели дожидаться открытия съезда. Здесь приезжий из уезда и оценил голос Захара. Под свою старую двухрядку с легкими выносами на высоких нотах, с протяжными переливами Захар пропел:

На старой калужской дороге.

На сорок девятой версте...

Приезжий крепко пожал руку Захару и горячо проговорил:

— Мы тебя отправим учиться... Обязательно! Я все узнаю там, как и что, и мы придем в волостной совет бумажку, а совет известит тебя, и ты приедешь к нам. Обязательно отправим. У тебя несомненное дарование.

С тех пор Захар с Кочкиным чуть ли не каждый день заводили разговор о предстоящем отъезде. Кочкин наказывал Захару учиться старательно и заставлял чаще петь, чтобы голос «крепчал».

Вскоре они оба ходили в Колесниково справляться не пришла ли бумажка.

Пора была страдная; жнитво в полном разгаре, — сапожной работы у Кочкина не было, и он ретиво взялся помогать другу.

— Выучись, так меня не забывай, — говорил по дороге Кочкин, — я ведь к тебе лучше брата родного...

— Разве забуду... Я не такой...

— Когда певцом будешь, так, пожалуй, приведется и красенького выпить. Портвею тогда выпьем... Я к тебе в театр побывать приеду!

В волостном совете бумажки не было.

— Забыл, наверно, этот говорун, — рассуждал Кочкин, — делов-то у него много, — вот в голове и зашибает.

— Да-а... Большая задержка получается, — уныло согласился Захар, — придется, видно, мне в уезд сходить. Раз начали, так надо добиваться.

— Вот! — обрадовался Кочкин, — не только свету, что в окне: на улицу выйдешь, больше увидишь, все узнаешь и дорогу в ученье себе найдешь. Катай в уезд.

И на тех же днях Захар отправился в город. Пятьдесят шесть километров он отмахал быстро.

На другой день с раннего утра по городу бродил усталый, застенчивый парень в заплатанных штанах и в новой розовой рубашке. Захар первый раз видел паромод, железную дорогу, город с высокими каменными домами. Он бродил по улицам, рассматри-

бая большими, удивленными глазами витрины магазинов, трехэтажные здания, пожарную каланчу...

Разыскав заведующего отделом народного образования, он сказал:

— Узнаешь ли меня?

— Сейчас, сейчас вспомню... А-а-а! Певун... певун из Колесникова. Как же, как же, мы тебе бумажку послали.

— А я не получил.

— Как не получил? — удивился заведующий и обратился к секретарю. — Леша, справься, было ли послано в село Колесниково на имя гражданина Чадкова извещение о том, что ему предоставляется место в музыкальном техникуме. Присаживайсь, Чадков.

Он оглядел заплаты на штанах Захара и сказал:

— Придется тебя, певун, определять со стипендией...

Захар в тот же день пустился домой в Шмелевку. Кочкин порадовался удаче и стал собирать друга в дорогу. Приближался отъезд, настали мучительные дни прощания с деревней. Немолоченую рожь и две полоски доспевающего овса Захар продал и на эти деньги приделался на городской манер.

Когда уводили проданную лошадь, Захар обнимал и целовал лошадиную морду. Кочкин напугался — не передумал бы парень и велел поскорее увести коня. Провожала Захара в ученье вся Шмелевка.

Подрядился доставить его до города дедушка Яким Пискарев. Он дождался седока на околице. Захар, пошатываясь, сошел с крыльца с гармошкой на плече. Кочкин нес за ним сундучок.

— Валенки бы взял, — скоро зима, — посоветовала одна древняя старушка.

На улице Захар тронул гармонь и прощально затянул:

По тебе, широка улица,  
Последний раз иду,  
На тебя, моя милая  
Я последний раз гляжу.

Из заулка дома Ворониных поспешно вышла Анисья, крепко поцеловала его и передала ему сверток. По толпе, очарованной этим смелым поступком Анисьи, просияла хорошая человеческая улыбка.

— Молодец, Анисья, — сказала одна из женщин.

— А чего стесняться-то, — усмехнулся Кочкин, — все равно ведь любви, огня да кашля от людей не скроешь.

Усевшись в телегу, Захар хотел что-то сказать на прощанье. Но только махнул рукой — ничего не вышло. Провожавшие засмеялись и осыпали его добрыми пожеланиями.

— Яким Перфильич, наматывай! — приказал Кочкин.

Телега скрипнула. Провожавшие разошлись, а Кочкин все стоял на околице, все смотрел вслед и тронулся домой, когда телега скрылась из глаз.

Месяца через два Захар прислал Кочкину письмо. Сапожник снял фартук, перешел в красный угол и, присев к столу, вскрыл конверт.

Захар писал о непривычном городском житье, о трудностях учебы, жаловался на неугасающую тоску по родной деревне. Кочкин решил сейчас же ответить ему, достал с полки карандаш и бумагу:

«Конечно, — писал он, — каждому мила та сторона, где пупок резан, любить ее люби, но не убивайся по ней. Надо спокойно науки учить — ум точить, развивать свой талант. Что же касается трудностей, то легко ничего не дается, не разгрызешь ореха, не съешь и ядра».

Шли дни за днями, Захар писал все реже и реже, а потом и совсем смолк.

Кочкин ждал-ждал писем и стал жаловаться соседям:

— Захарка что-то мне ничего не пишет. На линию, верно, попал и забыл старого друга. Стыдно молчать, когда есть что сказать. Хоть бы махонькое письмишко черкнул. Уж я ли его не делал, я ли о нем не заботился.

— Что он тебе будет писать, ты ему не брат родной, — говорили соседи.

— Верно не брат, с рожи не схожи, крови не родной, да души одной, — отвечал Кочкин.

В Шмелевке за это время произошла великая перемена. В колхоз Иван Кочкин пришел своим путем. Земли у него не было, работать в поле он не умел, новым хозяйственным укладом мало интересовался.

Где-то шумели собрания, крестьяне улаживали артель, исчезали с лица родной земли единоличные полоски, а Кочкин стоял в стороне, полагая, что все это его не касается.

Вспомнили о нем, когда на колхозной конюшне подорвалась сбруя и потребовался шорник. В избу зашел председатель колхоза и спросил Кочкина:

— Ты, Иван, как дальше расти думаешь?

Кочкин посмотрел на него изумленными глазами — как это расти человеку на шестом десятке...

— Пожили по сту, а все, будто, к росту, — усмехнулся Кочкин.

— Так вот и выходит, — прицепился председатель, — у нас теперь в артели и молодые и старые душой растут, на курсы едут, по-новому землю обрабатывать учатся. Прежде говорили: на авось мужик хлеб сеет, а мы теперь сеять на авось не хотим, мы должны наверняка собирать большие урожаи...

— Так ты меня учиться послать хочешь? — оживился Кочкин. — Что ж, я непроч. У меня и силенка есть и голова со смекалкой. Ведь это про меня говорится — стар гриб, да корень свеж. — Кочкин приосанился, распушил пятерней свою кудлатую с проседью бороденку и совсем уже весело добавил: — Иной седой стоит кудрявчика.

— Учиться я тебя, кудрявчик, никуда не пошлю, — ответил председатель, — а ты вот возьми — почиши обрую, мы тебе хорошо заплатим, а если полюбится, так и совсем у нас останешься.

— Я долго думать не люблю, — бойко ответил Кочкин. — Я человек отчаянный: когда меня мать рожала, так три года дрожала, я нигде не сробею... Хорошо, председатель, приду, а там как-нибудь сладимся.

Он забросил верстак и стал ходить на работу в колхоз. В избушке конюхов он ушивал хомуты, дело спорилось в его искусных руках. Сюда часто заходили колхозники. Кочкин встречал их приветливо. Он сдружился с ними, и когда шорная работа кончилась, ему уже не захотелось возвращаться к своей одинокой жизни. Он запросился в колхоз. Его приняли и поставили работать конюхом. В первый же год он разжился в колхозе хлебом, одеждой и стал ярым сторонником артельного труда.

— Один горюет, а артель воюет, — говорил он единоличникам.

Когда колхоз управлялся с севом или уборкой во-время, Кочкин восхищенно твердил:

— Артель охнет — лес сохнет. Вот какая сила. Счастье в нас, а не вокруг нас, оно в нашей воле.

Кони любили его, простого и доброго душой, толкового и расторопного на деле. Он кормил их во-время, обращался с ними ласково.

Его можно было видеть часто в правлении. Здесь он неизменно всем доказывал, что конный двор в колхозе забыт, кричал:

— Лично мне ничего не надо, я сыт по горло, доволен по глаза, а вот коням моим дай-подай и выложь хороших кормов. Ведь не лошадь везет, а корм. Сыт конь — богатырь, а голоден — кляча убогая. На кнуте ты, мил друг, никуда не уедешь, а на овсе куда хочешь смело поезжай.

Однажды перед весной на районном слете колхозников его как примерного конюха премировали патефоном.

Радостный явился он домой.

— Приглашаю в гости вас, нынче праздник у нас, — сказал он жене. — ставь самовар, музыку будем слушать. Наградили меня. Дорог подарок невыпрошенный, дорога любовь искренняя.

— За что это тебя наградили? — полюбопытствовала жена.

— За то, что у меня лошади высшей упитанности.

За чаем, накручивая ручку патефона, Кочкин сказал:

— Упитан конь-скотина, пожалован патефоном молодец-сиротина.

— Это уж не ты ли сиротина-то? — покосилась на него жена.

— Кто же... Конечно. Я же круглая сирота — у меня ни отца, ни матери — сама знаешь. А жена — это не родня, а подруга жизни, — веселился Кочкин.

Он завел пластинку, другую, третью... Поставил четвертую... И вдруг лицо Кочкина вытянулось, взгляд остановился. Жена, позвякивая чашкой, наливала чай... Крутой кипяток бежал из кра-



на с шумом, с брызгами, как газированная вода. Кочкин стремительно приподнялся и сделал грозный знак жене:

— Чш! Не шевелись.

Жена послушно завернула кран и отставила недолитую чашку. Теплый, задушевный тенор вывел последнюю трель.

— Захарка... Это Захарка пел! Вот не сойти мне с этого места — он! Его голос! — обрадованно воскликнул Кочкин.

— Много на свете всяких Захарок, — сказала жена. — Твоего Захарки может давно и на свете-то нет. Сколько лет уж о нем никаких известий?..

Кочкин поднес к глазам пластинку и прочитал: «Исп. солист гос. музык. театра им. Немировича-Данченко З. Т. Шмелевский».

— Видишь, совсем и не он, — сказала жена. — Захарке фамилья было Чадков.

— Переменил для красоты; был Чадков стал Шмелевский, по имени своей деревни назвался — из Шмелевки, дескать, я.

Это звучало убедительно, и жена согласилась:

— А ведь, пожалуй, так оно и есть, не иначе как, на самом деле, это Захар.

\*\*\*

В тот же вечер Кочкин накатал в театр письмо — работает ли, де, у вас артист Захар Терентьевич Шмелевский. Ему ответили, что да, работает, но сейчас его при театре нет, уехал на концерты в такой-то и такой-то город.

Города эти были недалние, и Кочкин решил повидать Захара.

Он отпросился в правлении на несколько дней и в тот же день уехал на станцию. Вернулся он домой через неделю.

— Приехал в город, — рассказывал Иван Тимофеевич, — вижу на заборе — афиша «Шмелевский... Только два концерта». А дни эти прошли. Я туда-сюда — справки навожу: уехал, говорят, в соседний город, спешите туда. Спешу... Приехал. Где певец Шмелевский? Здесь... Дает у нас два концерта. Захар меня сразу узнал. Идет ко мне навстречу, смеется и говорит:

— Ты жив еще, старый мальш?

— На этого Ипата еще не выросла лопата, могилу копать нечем, — отшутился я. — Ставь бутылку портвейну, как тогда уговаривались.

— Хоть две, говорит, идем отпразднуем наше свидание. Распили мы эту бутылку, закусили балычком, черной икоркой; он бы еще непрочь, а жена запрещает, голос бы, де, Зах (она его Захом зовет), как не испортить. Он прекратил, а я еще себе позволил, в театрах мне уже не петь, годы не те, да и голос не тот, беречь его нечего... Потом принялись за чай со всякими сладостями.

Кочкин рассказывал горячо, увлекаясь и прикрашивая. По его словам Захар выглядит писанным красавцем, одет с ниточки во все новое, а слушать его пение люди валом валят, билеты всегда нарасхват. А жена у него тоже артистка, лицом македонская ботиния,

со щучки одни щечки кушает и до того собой нежная, что даже в нетопленной горнице угорает. Сами вот увидите. Летом они обещались приехать...

\*\*

Это было в июле. В знойный день Иван Тимофеевич купал жеребца. На реку примчалась стайка ребятишек. Они влетели прямо в воду и затараторили, перебивая друг друга.

— Дядя Ваня, к тебе гости приехали... Тетенька вся-вся в белом и дяденька в шляпе...

«Это Захар с женой» — догадался Кочкин. Он подобрал поводья, гикнул и наметом промчался к конюшне. Там он оглядел себя — в рабочей одежде, мокрой с головы до пят... Иван Тимофеевич задворками пробрался к себе в избу, переоделся в праздничное и вышел встречать гостей. Захар стоял у соседнего дома и разговаривал с древней старушкой, которая при отъезде его из Шмелевки советовала взять с собой валенки.

Иван Тимофеевич обнял певца, поздоровался с его женой и пригласил к себе.

— Дай ты мне, Иван, с ними наговориться, — сказала старуха.

— Идем с нами, — сказал Кочкин.

— Ладно, — согласилась она, — я сейчас вишенья принесу.

Отдохнув, артисты прошлись по полям, побывали в саду... Иван Тимофеевич сопровождал их. Он был необычно оживлен и весел. Встретив девушек, загадал им загадку:

— Пришел милый и повалил силой. Ну-ка-те, отгадайте.

— Так вот и станем тебе отгадывать, — дерзко отвечали девушки, краснея.

— Да что вы в конфуз-то? — искренне удивлялся Кочкин. — Это же сон. Вот какая отгадка.

— Девоч-то, девочек-то сколько подросло, — восклицал он, глядя им вслед. — Ах, ты малина! А люди, брат ты мой, все краше делаются. Ишь девушки-то — любота! В мою молодость девки хуже были. А все отчего? Человек уважать себя стал, корма пошли лучше, Захар Терентич, ты гляди — девушки и личиком белы и с ючей веселы.

Но Захар не оглянулся. Встреча с девушками вызвала в его памяти далекое и трогательное воспоминание, и он спросил:

— Иван Тимофеевич, а где Анисья?

«Анисья... Да!.. Где же Анисья?» — мысленно спохватился Кочкин и, вспомнив, сообщил:

— Она померла... Года через полтора после твоего отъезда померла... О ней забыли уже все в Шмелевке.

— А кто эта Анисья? — ревниво спросила артистка. — Захар грустно молчал, и за него ответил Иван Тимофеевич:

— Тут девушка одна жила... Красивая была девушка и песни очень любила, — тихо проговорил он, вздохнул и на минуту задумался.

Жена Захара, быстрая, ласковая молодая женщина, скоро знакомилась с колхозницами, заводила непринужденный разговор. Заведующая пасекой, пожилая, гостеприимная Таисья Ивановна, предложила мед. Артистке очень понравились свежие огурцы с медом.

— Как это замечательно, — воскликнула она.

— Я будто знала, что это вам полюбится, — обрадовалась Таисья Ивановна.

— Нет ничего лучше меда, — сказал Кочкин, — встарину, говорят, пономарь с медом лапоты съел.

Артистка вскинула на него изумленный взор и громко рассмеялась. Пасечница покачала головой.

— Он у нас всегда так, — заметила пасечница, — бает-рассыпает, что цветами посыпает.

— Ты, Иван Тимофеевич, — все такой же весельчак, — сказал Захар.

— Да еще веселее стал, — петушком приосанился Кочкин, — теперь у наших ворот всегда хоровод.

Вечером колхозники попросили Захара спеть.

— Могу, — согласился он, — но трудно — рояля нет.

— А под гармошку?

— Отвык уж я под гармошку-то... Давайте все, я запою, вы поддержите.

— Правильно, — подхватил Кочкин, — петь хорошо вместе, а говорить порознь.

— «Дан приказ ему на запад», — запел Захар, взмахнул рукой, и колхозники дружно пристали, и песня, мужественная и волнующая, понеслась в тихие вечерние поля.

— Какой замечательный хор! — похвалил Захар, когда песню кончили.

— Поется там, где воля, холя и доля, а у нас теперь все это налицо и потому хочется петь. Нам бы хор создать.

— Оставайтесь у нас руководителем! — бойко обратилась к Захару одна из девушек с веселыми искорками в глазах.

— У вас есть руководитель, — улынулся ей Захар. — Вот Иван Тимофеевич. Он и пение очень любит и голос у него хороший.

Шмелевские уехали на другой день вечером — спешили на концерт. На Волгу, к утреннему пароходу, их вез Кочкин. Была теплая июльская ночь. Захар лежал в широкой телеге, положив голову на колени жены, жадно дышал лесным воздухом и сквозь полусон слушал Ивана Тимофеевича.

— Человек рад лету, а пчела цвету... Экая ночь отрадная. Теплынь, теплынь-то какая... Сейчас самая хорошая пора: ведь июль — маковка лета. Сколько на земле красоты, сколько в ней силы! Вы к нам опять приезжайте. Кто землю забывает, тот силу теряет. Опять же вот вам надо наследников иметь, чтобы в жизни стоять упористее. Хоть бы вам красных деток — сынка

да дочку. Отец рыбак, так и дети в воду глядят, по отцу бы матери пошлн, артистами тоже бы стали!

Кочкин говорил неторопливо, задумчиво. Заднее колесо мелодично вторило ему, насвистывало, как свиристель:

— Чир-чир... Чир ли — чир...

## НАДЕЖДА

Летом молодежь деревни Репьевки каждый вечер сходилась на часок-другой погулять на сколице у старой березы. Там я и увидел Надежду. Заметна была в ней какая-то искренняя скромность. Ребята говорили про нее: «Гордится, что красива». Но эта была не гордость, а какая-то сдержанность и несмелость.

Ленивый овал красивого лица, густой загар нежной кожи, рот крупный — не вширь, а как-то вверх — губы сочные, глаза ласковые, синеватые с томной поволокой. Волосы светлорусые, кудреватопышные, с пепельным отливом собраны в толстую длинную косу. Красота ее не была кричащей, но заметив ее, нельзя уже было забыть, она оставалась в памяти навсегда.

В тот вечер, как и во все прочие, у старой березы молодежь танцевала, распевала частушки. Я рассказывал о городе, говорил много и горячо.

Надя слушала, вникая в каждое слово. Ночью я провожал ее домой. После мы каждый вечер встречались с ней на реке. На свидание она приходила раньше, ждала меня в ветлах у старой мельницы. Бродили поза деревне полевыми тропинками-дорожками...

Один раз, когда мы стояли в поле, облокотившись на старые прясла, после жарких поцелуев и ласк, она спросила — люблю ли я ее. Я пылко отвечал, что люблю, она очень красива, но одно только нехорошо — неграмотна...

Она опечалилась... Помню ее большие прекрасные влажные глаза, задумчиво устремленные в полевые вечерние дали.

Говорил я нерадостные слова — «надо учиться»... «догонять», ей было тяжело, она не смотрела мне в глаза.

— Я училась в школе только полтора месяца, — сказала она.

— Меня оставили дома — с новорожденным нянчиться... Так и пропала моя школа.

В августе, закончив практику, уезжал я на учебу, она простилась со мной печально. Через пять с лишним месяцев, когда зима начала сдавать и весна приглядывалась к снежным полям ясным смеющимся взором, получил я письмецо.

«Сперва-наперво тебе сообщенье, что письмо сама пишу. Прошло почти полгода с тех пор как ты уехал — вот как долго я о тебе не вспоминала. Я так решила, — когда выучусь, тогда и вспомню. Это время у меня не прошло напрасно. В избу-читальню осенью прислали нам ликвидаторшу неграмотности

— молодая, да такая хорошая, я с ней познакомилась, и мы теперь с ней подруги. Мне кажется, будто я теперь другая, как много я вижу и понимаю, о чем раньше и не задумывалась. Избач у нас нынче дельный... Спектакли устраиваем и еще вечера с танцами и пением. Поклон тебе от Софрона Горюхова — он просит тебя прислать ему книжечку про лошадей. Особый привет от Кольки Галкина. Он просил написать, что радио, которое ты с ним устроил, действует... В лунные ночи катаемся с Колькой на лыжах. Морозно... Снег... И я вспоминаю тебя... »

Дорогое сердцу, редкой новизны письмо. Я представил себе: на стол послана газета, на газете исписанный листок... Домашние спят... На столе лампенка маленькая мигает и зудит тоскливой песней... На улице собачий лай, гармонная воркотня и холодная жуть бродит вокруг избы. Она, чудесная моя девушка, уперлась взглядом в узорную туманность маленького окна, тиха и прекрасна, как сказочная дева-несмеяна. В размывчатых томных глазах мечтательная задумчивость — она решается написать мне о своем сердечном чувстве.

«Приезжай летом опять в Репьевку, привози мне книжечку интересных. Жду и буду ждать. Ведь из-за тебя я изо-всех сил училась. Спасибо тебе, что ты тогда мне все разъяснил. Зимой сватались четыре жениха — всем отказала. А отец-то меня, а мать-то меня... А я теперь непослушная. Жду лета и тебя. Напиши ответ.

*Надя Кедрина.*

У меня не было еще такой радости. Мне безмерно дорог этот листок. Я любовно разглядываю это еще неспелое поле букв... Да, она училась очень старательно.

Поеду ли я к ней? Но ехать мне не хочется, мне хочется лететь к ней, пленительной и желанной.

Через девять лет, работая агрономом, по служебной командировке я очутился в районе Репьевки. Решил завернуть в нее. Видеть Надю Кедрину не надеялся. Она, вероятно, вышла замуж в другую деревню, или, может, уехала в город.

Что мне помешало приехать к ней тем летом, когда она звала? Трудно теперь вспомнить. Ведь, когда мы юны, молодость нам кажется бесконечной, а жизнь зовет нас тогда во все стороны тысячами настойчивых голосов. На практику уехал в другой край, тянуло меня ездить, видеть новые места. Потом шумная жизнь, встречи с бойкими городскими девушками заслонили образ простой деревенской любимой...

И вот я опять в Репьевке. Передо мной знакомый пейзаж колхозной деревни. Длинные со множеством маленьких оконцев скотные дворы, дебелая силосная башня, льнотрепальный завод на реке.

Репьевка расширилась; новая улица добралась до реки, крайние дома свернули в сторону, взобрались на бугор и лукаво поглядывают оттуда, как сероглазые шаловливые ребята. Я направился к старому другу Кольке Галкину. Он жил у дяди, когда я первый раз был в Репьевке. Я остановил на улице молодую женщину:

— Где тут Галкин живет?

— Это который сорок два центнера пшеницы?..

— Я не знаю...

— Вы от газеты?

— Нет... Подождите... — Галкиных в деревне было много... — Этого зовут Николай... Он таких же лет, как я.

— Николай Галкин у нас председателем... Во-о-н его домик, — указала женщина.

Сделав шагов десять, я югланулся. Женщина стояла все на том же месте и смотрела мне в след. В чертах ее лица я старался найти что-нибудь знакомое, но нет, не знаю эту женщину. Из школы бегут дети... Никого из них я тоже не знаю. За девять лет в Репьевке подросло шумное незнакомое племя.

Галкин сидел за столом спиной к двери. Он повернул голову, посмотрел на меня, потом на миг закрыл глаза и вновь посмотрел.

— Здравствуй, Николай.

Его, как вихрем, подняло. Он кинулся навстречу, сорвал с меня шапку, пальто:

— Раздевайсь... Садись... Какими судьбами?

— Ехал мимо в командировку и вот завернул к тебе.

Я присел, огляделся. В избе два стола. На маленьком, что в углу, стопки книжек... Перламутровые лады баяна выглядывают из-за них. Чистые бревенчатые стены. Дом, видимо, недавно выстроен. В красном углу фотографические карточки... Я всматриваюсь и вижу на одной из них... Неужели она? Подхожу вплотную к стене... На снимке Надежда Кедрина. Она держит, закинув на плечо, охапку льна, весело смеется.

— Это наша стахановка... Рекорда по выращиванию льна добилась. Ты, кажется, с ней был знаком когда-то, — лукаво усмехается Николай.

— Да-а... Помню.

Я так возволновался, что еле разглядел, где находится мой стул. Сердце билось часто, радостно и пело — «она здесь, она здесь, она здесь». Мне хотелось сейчас же оставить Николая и спешить к ней... Но за переборкой раздался детский смех, возня раздевальня... Скрипнула досчатая дверь переборки, вбежал тоненький мальчик, потом другой — поменьше, но полнее его. За ними вошла мать... Надя Кедрина... Она!.. Когда я разглядывал карточку, Николай не сказал, что Надежда давно стала его женой... Очевидно, хотел сильнее поразить меня. И вот через девять лет я вновь вижу Надежду. Она стала выше, солиднее, лицо сделалось как будто меньше, но живее, выразительнее. Держалась она величественно и властно, и в присутствии ее я почувствовал себя неловко и принижено. Я видел, что она стала еще лучше, еще красивее; чувство сожаления охватило душу, лишило покоя, уверенности в себе... Как много я потерял.

Увидев меня, она не удивилась, не обрадовалась, словно я здесь был завсегда. Без единой тени волнения она подошла и пожала мне руку и, указав на ребят, проговорила:

— Познакомься с моими сыновьями.

С подчеркнутой приветливостью я склонился к ним, как взрослым подал руку, потрепал курчавые головенки. От матери они унаследовали большие синие глаза и белокурые кудри мелкими колечками.

— Ты женат, конечно? — спросила Надежда.

Я смешался, но, овладев собой, ответил с достоинством:

— Да-а...

— Детки есть, конечно?

Вопросы она задавала таким тоном, что отвечать отрицаниями я не мог.

— Один... Одна дочурка.

Пили чай. Николай и Надежда рассказывали о себе. Я точно не помню, что они мне рассказывали, о чем спрашивали. Будто кто другой говорил с ними. Я завидовал и жалел. Почему я не прилетел на ее призывный голос тогда, девять лет назад? Теперь мне было ясно, что только с ней, с этой женщиной, я мог быть счастлив. «Тебе суждено было любить один раз в жизни, — говорил я себе, — и ты легкомысленно отверг эту любовь».

Меня оставляли нечестно, но я не мог здесь больше оставаться. Галкины не особенно настойчиво удерживали меня. Николай быстро вызвал подводу. Надежда подала мне что-то тяжелое, завернутое в газету, перетянутое шнурком и спросила:

— Дочка у тебя хорошенькая?

— А что? — вскинулся я. Ее вопросы мне уже казались пыткой. Но, видя приветливое ее лицо, я смягчился и ответил с деланной улыбкой:

— Хорошенькая.

— Передай ей этот гостинец... Скажи из деревни от колхозных ребят.

Я торопливо простился с Николаем, с Надеждой, с их мальчиками, игравшими у избы, и вскочил в телегу.

Прощай, Репьевка! Больше не бывать мне здесь. Красавица Надежда утеряна для меня навсегда. Я не приехал, когда звали, а теперь, когда не зовут, мне неслед сюда ездить.

И вот уже Репьевка осталась далеко позади. Наступил вечер. Столетние березы, с обеих сторон обступившие широкий старинный тракт, гудели глухо и мрачно. Мелькали огни колхозных деревень. Встречались машины и на мгновение ослепляли ярким, белесоватым светом. В глазах неотступно стоял образ прекрасной Надежды...

Часов в девять вечера приехал в районный городок. В общежитии заглянул в сверток. Золотистая антоновка дохла медом, свежестью сада, ядреным осенним утренником.

Запах антоновки воскресил все, что я видел, пережил несколько часов тому назад, и мне казалось, что яблоки пахнут Репьевкой, простым деревенским несокрушимым счастьем, любимой Надеждой, красивой и сильной женщиной, налитой здоровьем и сладостью. Я

отодвинул сверток, но запах антоновки тревожил меня.. Везти эти яблоки было некому, есть я их не мог — они предназначались не мне... Даже больно было притрагиваться к ним, они мучили меня, как доказательство моей лжи... Ведь на вопросы Надежды я отвечал утвердительно, чтобы не уронить себя в ее глазах... Боялся, что она будет жалеть, как несчастенького... В глазах ее — жены и матери — я, одинокий человек, выглядел бы жалким.

По коридору пробежала девочка лет семи, дочурка заведующего гостиницей.

— Ли-и-дочка! — закричал я, схватил сверток и пустился за ней.

— Ли-и-дочка! — Девочка остановилась в конце коридора.

— Я тебе из деревни гостиницу привез... Бери! Кушай... Она слава-джие...

Я жил в разъездах, ночевать мне здесь приходилось часто, девочка знала меня.

Она стала вдруг серьезной и, обхватив сверток, поблагодарила. Повернулась и тихими, осторожными шажками пошла...

Хрупкая, трогательная фигурка ребенка с тяжелой для него ношей скрылась за дверью. Я ушел в свою комнату и почувствовал себя легче.

Ночью мне снилась Рельевка; будто я уезжал из нее и опять попадал в Рельевку, уезжал и... проснувшись утром, долго не мог понять, где я нахожусь.

## ДОРОГА

Зовут меня хитро:

— Полиект.

И фамилия замысловатая:

— Кайдокуров.

У отца я один сын был — балованный, занозистый. Сядем, бывало, обедать — я губу сковородником, рукой глаза натираю, чтоб слезу показать, и тяну бедного Лазаря:

— Каша то намазаная.

— Мазаная, — уверяет отец.

— Масла не видно.

— Ее мазали, когда сеяли. Ешь — вкусная.

С ранних лет все мне знать хотелось. Летом я в поле бегал доглядывать, как мажут и сеют кашу.

— Опоздал ты, Полнешка, — говорил отец, — намазали и посеяли.

По девятому году я выучился грамоте у прохожего учителя. Учитель мой ходил по «волчьему билету» и зашел к нам переждать вьюгу, а она разбушевалась на несколько дней, и он задержался. Я за это время с жаром схватился за грамоту. Уходя,



учитель, как сейчас помню, погладил меня по голове и со вздохом сказал:

— В ученые тебя — здорово бы дело пошло.

— Так-то оно так, — печально отвечал отец, — но некуда и средств нет.

С той поры я таким любопытством разгорелся, что весь мой свет на книжке клином сошелся.

Избенка наша стояла при дороге. Большая дорога тут проходила, и по ней стаями тянулись богомольцы, монахи, нищие.

По весне я сбежал в поводыри. Слепой заманил меня рассказами о невиданных странах, чудовищах и обещал все это показать. Отец догнал меня на седьмой версте, отодрал за ухо, привел домой.

Через несколько лет он определил меня в плотничью артель.

— Вот уж тут наскитаешься, на все нагладишься — раз ты такой непоседливый.

Плотники народ дошлый, насмешливый, я быстро у них прижился. Входим, бывало, в село, задние кричат передним:

— Станция... давай свисток, тормози лаптями.

Артель останавливается, садится, подрядчик идет сделку заключать.

Один раз в большом торговом селе ломали мы старый дом и нашли под застрехой искусно спрятанный сверток с книжками.

— Ну-ка, Полишка, ты читарь записной, — сказали плотники, — погляди, что за чтение!

Мы уселись за стеной, и я книжечки две прочитал. И такая в них великая правда заключалась, такой яркий свет от них шел, что плотники оцепенели в раздумье, сидят и жмурятся.

Книжечки эти против царя, бога и попов — мы скрыли от подрядчика и временами, когда его с нами не было, почитывали. Много сомнений они у нас вызывали. Я был парень смелый и ходил к попу этого села справки наводить. Летом дело происходило. Поп сидел у окна, чай с вареньем пил. Я снял картуз, попросил разрешения задать вопрос и говорю:

— У первых людей Адама с Евой два сына было — Каин и Авель. Каин убил Авеля, ну, так видно тому и быть, и ушел в другую сторону и там женился. Где же Каин себе жену взял, раз он был один — единственный человек во всем свете.

Поп высунулся из окошка растерянный, злой и кричит мне:

— Вот я урядника позову, он тебе разъяснит про каинову жену.

Какая была наука-то божественная: что в ней неясно — урядник кулаком разъяснит, а ясного-то и не было.

Столько зверства и зла было тогда в деревне, что мне стало тяжело ходить по селам и деревням. Начитавшись политических книжек, беду крестьянскую я увидел во всей глубине. В какое село или деревню ни приди, — везде горе, печаль да нищета.

Вскоре пришлось мне расстаться с артелью. Подымали плотники бревно на верхний венец, а Гришуха Фатеев, молодой парень,

загляделся на девицу и выпустил его из рук. А я в это время на земле стоял, тоже на девушку зазевался. Бревно угодило прямо мне на правое плечо. Если бы в голову — тут же смерть. Больницы поблизости нет, да и заботиться обо мне некому было: человек к человеку тогда холодно относился. Провалился я дней пять в сарае, потом подрядчик видит, что я больше не работник, и говорит:

— Отправляйся домой, делать тебе здесь больше нечего.

Что делать? Ушел. Плечо высохло, рука отвисла в бездействии. Остался я на свете один и с одной левой рукой.

Семьей обзаводиться, по правде сказать, не решился. Как буду семью кормить? Так и существовал один. Жил ельничком да березничком, собирал ягоды, грибы, ловил певчих птиц на продажу, специализировался на соловьях. Тонкое дело приучить и развить талант соловья. Они бывают, как люди, разных способностей. Соловьи криковые — кричат дробью, простой и рассыпной, — на разные манеры: куликом, вороном, клекотом, светлыми и водяными дудками, раскатом, тревогой, стукотней, свистом, кукушечьим перелетом. Соловьи певчие поют россыпями, овсянками, разными бубенчиками, колокольчиками, бриллиантовыми и флейтовыми дудками.

Птицы были утешением в моей жизни. Летом еще ничего — мать-природа меня кормила и оживляла; а глухой осенью — дожди студеные, дни как сумерки, на дороге грязь непролазная, мужицкие подводы пробираются по ней, как по болоту. От моей избенки дорога уходила в поле и делала там крюк, бродом пересекала речонку, которая и название-то носила угрожающее — Деринюга. Осенней ночью, бывало, лежишь и слышишь истошный вопль с переправы; так уж и знаешь: кто-то влип там по самые ступицы. Сколько раз вместе с проезжими я проклинал эту дорогу, сколько слышал плача и жалоб. Хотелось убежать из своей избенки, чтоб только не видеть, не жить на обочине этой страшной мужицкой дороги. Тянулись по ней партии ссыльных, уныло позвякивая кандалами. Политических я отличал по смелому взгляду и каждый раз думал: «Это вот они писали те книжечки, которые мы под застрехой нашли».

Поглядишь им вслед, прислушаешься к кандалному звону, и защемит сердце... В думах о народе, о людях, борющихся за его счастье, пройдешься по реке и вновь взглянешь на дорогу; а они пылят еще вдалеке, взбираясь на взгорбок поля. По ней шли с надрывными песнями рекрута; с плачем и причитаниями семьи провожали своих кормильцев на бессмысленную царскую войну, то и дело несли детские гробики...

Прошли годы, как торопливые путники. В деревне нашей сладил колхоз, и мне там нашелся труд по силам.

Работал я сначала кладовщиком, потом из района говорят:

— Не желаешь ли, Полиект Прохорыч, поехать на курсы дорожных мастеров. Человек ты придорожный, тебе это дело будет

в самый раз. Будем дорогу проводить, она в аккурат мимо твоего дома пойдет.

Предложение по сердцу пришлось, заколотил я избенку и поехал на курсы. Через год вернулся в полном звании — дорожный мастер Полиэкт Кайдуков. Стали мы строить дорогу и в два лета провели такое ли шоссе, что хоть шаром покати. Замостили где торцом, где камнем, настроили придорожных беседок для отдыха путников. Избу мою подновили, повернули окошками к дороге, чтобы она у меня всегда на глазу была.

Дорога прямой стрелой пересекала нашу местность. Легко и вольно пошли по ней колхозные обозы, брички, тарантасы, а потом автомашины. Сначала были только две — Золотиловского и Дюдяковского колхозов, а теперь их множество: почти все колхозы нашей округи автомобили завели. У меня в избе всю ночь то рассвет, то закат. Подходит автомобиль — светает, ушел — стемнело. День и ночь идет и мчится по дороге оживленная, богатая колхозная жизнь. Новостей я слышу на дороге столько, что один мог бы целую газету писать каждую неделю.

То и дело веселые песни на шоссе на пути слышатся: вот призывники на сборный пункт, как к празднику едут, вот колхозный хор проехал на олимпиаду, а то так просто счастливые прохожие песню затянут.

Раз в десять дней проезжает здесь библиотека-передвижка. Колхозники нашей деревни приспособили меня библистекарем. Я раздаю книжки, составляю заявки на новые. Читателей много, запросы их разнообразны. В колхозе все грамотные, многие очень развитыми стали, курсы прошли, в кружках учились, с книгой занимались. Раньше у нас в деревне ни одного интеллигента не было, а теперь вот их сколько: три учителя, зоотехник, дорожный мастер, акушерка...

Большую живость придает жизни хорошая дорога. Люди быстрее передвигаются, чаще встречаются.

Здесь на дороге я и невесту себе нашел.

Она молоко из своего колхоза в город возила. День я к ней приглядываюсь, другой, третий, — нет сомнения — знакомая женщина. Она! Пожилая теперь уже, но следы красоты на лице остались. Остановил ее объяснить. Она говорит:

— Это не тебя ли, бывало, в нашем селе покалечило?

— Меня. А все из-за чего? Сам я и Гришуха Фатеев на девушку загляделись... И вот теперь через много лет узнаю ее в вашем лице.

От такой неожиданности она смущенно зарумянилась и начала рассказывать о себе. Была замужем, давно овдовела... Стала заглядывать ко мне: приберется в избе, возьмет белье выстирать, а потом совсем в мою избу переехала. Работает теперь в нашем колхозе на молочном-товарной ферме. Живем очень хорошо, бережем друг друга, ни в чем не нуждаемся и кашу мажем не в поле, когда сеем, а за обедом — по-колхозному. Так-то оно вкуснее.

Прошел один раз по дороге и поп, к которому я в молодости с вопросом ходил. Церковь, где он служил, закрыли. Бредет отыскивать себе другое место.

— Так где же, — спрашиваю, — все-таки, Каин жену-то себе нашел?

— А чорт его знает, — говорит, — где он ее нашел. Вообще все священное писание путаница.

— Так зачем же ты опять путанице этой идешь служить?

Ничего не ответил, поправил седые космы и пошел дальше.

Как-то летом в самую полночь в избе у меня внезапно рассвело. Свет не уходит — стало быть автомобиль подъехал и остановился. Выглядываю в окно.

— Где тут деревня Овсянка? — спрашивает шофер.

— Отсюда сейчас отворотка и полями километров семь.

— Доктора везу, — говорит шофер, — там с одним колхозником несчастье случилось, нужна немедленная помощь, дело спешное. Может потрудишься, доедешь с нами, покажешь дорогу.

— Можно! — и со всей охотой я быстро собрался.

Приехали в Овсянку, вошли в дом. Глазья яна больного и глазам своим не верю: — Пришуха Фатеев, друг юности.

— Что, говорю, с тобой?

— Да вот сегодня на велосипеде учился кататься, свалился и ногу себе повредил.

— На старости-то лет на велосипеде!..

— Что ж такого... Жить-то теперь хочется больше, чем в молодости.

Что верно Гриша, то верно. И счастлив ты, что это — киваю на ногу — не в старое время с тобой приключилось: быть бы тогда тебе без ноги. Помнишь, как я, бывало, с отбитым плечом в сарае валялся, забытый и никому ненужный. А теперь к тебе ночью в спешном порядке на машине прикатили..

И тут же поделился с ним своей радостью.

— А красавица-то, на которую ты тогда загляделся и бревно опустил, у меня живет. Ее полное имя теперь Арина Степановна Кайдокурова, жена дорожного мастера и стахановка на ферме. Живем душа в душу.

От удивления он так на постели и привскочил и тут же повалился опять от боли в ноге.

— Не может быть!

— Врать не буду.

— Она стара, наверное, теперь.

— Нет, я этого не сказал бы. Ничего, собой себя прежнюю напоминает. Выучишься на велосипеде — приезжай полюбоваться.

Обратно мы ехали уже на рассвете, автомобиль шел с потушенными фарами. У моей избы он остановился, и я распрощался с шофером и врачом. Выходило солнце. Дорога мчалась к городу. Поднимаясь все выше и выше по отлогим полям, она, казалось, уходила

в поднебесье. Автомобиль маячил черной букашкой вдали — у линии горизонта.

Я долго стоял и глядел вдаль дороги. Полегла она полями, лугами, колхозными деревнями и селами.

Я смотрел на дорогу, думал, и она мне показалась похожей на мою жизнь. Была она трудная, грязная, горестная, — и стала легкой, приятной и веселой.

## СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

Пароходик мал, река неширока, берега ее зелены. Она изощренно вьется, петляет по лугам, меж пологими, поросшими дубняком холмами.

К лодманской рубке подходит сухонькая, древняя старушка.

— Батюшка, останови карап, — молит она, — мой колхоз на пригорочке, мне тут рядышком... Вон к тому бы местечку, где голенький мальчик на копне сидит... Это мой правнук меня встречает.

Капитан дает тихий ход, «карап», вмещающий сто двадцать человек, плавно подходит к берегу и прижимается кормой к скошенной луговине.

Юный лейтенант в новой, безукоризненно сшитой форме помогает старухе сойти с парохода. Он ловко спрыгивает на берег и протягивает вверх руки.

Старушка склоняется к нему; он, как ребенка, берет ее подмышки, снимает с кормы, несет несколько шагов и осторожно ставит на мягкий луг.

К старушке подходит густо загорелый мальчик лет семи-восьми в одних только черных трусиках. Он берет у бабушки туго набитую сумку и взваливает себе на плечо.

Пароход идет дальше.

Тишина. День высокий, светлый, радостно улыбчивый. Воздух напоен ароматом смолянистого соснового бора. Пассажиры непоседливы.

Обращает на себя внимание бодрый, дочерна загорелый старик в голубой майке, холщевых штанах, в тапочках на босу ногу, с фибровым чемоданом в руках. Он безбоязненно подставляет свою лысеющую голову под лучи палящего солнца, живо интересуется всем. Его занимают стайки куликов, бекасов, потные дупелинные низины в лугах. Опытным глазом охотника он оценивает добротность приречных угодий. Узнав, что тут едут собиратели сказок, он с жалостливым укором говорит:

— Что же вы старуху то упустили?! Ведь ей без году девяносто. Вам бы надо следом за ней шагать.

С парохода он сходит на последних верхних шлюзах. Дальше река несудоходна. Со всех сторон ее обступают леса. Деревень не

видно. Мы идем лесной дорогой. Сладко пахнет малиной. С ягодников то и дело поднимаются тетеревиные выводки.

— Сторона наша раньше считалась глухой, — говорит старик, — теперь этого сказать нельзя. Мы живем полной жизнью, пользуемся всеми правами. Я, например, возвращаюсь из дома отдыха, отдохнул хорошо, буду работать еще лучше. От хорошего настроения могу вам и сказку рассказать. Слушайте! А придете в деревню, можете записать.

— На море, на океане, — певуче и строго начинает он с обычного сказочного зачина, — на острове на Буяне стоит бык печеный, возле его лук толченый... Шли тут молодцы, да позавтракали, дальше идут усмеваются, силой своей похваляются, глядят на все — удивляются. Это называется присказка, сказка впереди. Вот идут они зимой, несутся на лыжах и подбегают они к деревне Деяновке... Жил в этой деревне мужик Крот — пониже середняка, повыше белняка, сыт не был и с голоду не помирал. Встречаются они с ним в поле, а дело было перед весной, в сумерках. Молодцы его и спрашивают:

— Куда, дяденька, путь держишь?

— Вот вышел в поле подумать.

— А дома тебе разве нельзя думать?

— Дома с таким размышлением душно.

— Может вопрос сильно велик?

— Вопрос мудреного заглавия. Хожу вот здесь больше часу и думаю. Вся наша Деяновка в колхоз вошла, один я остался и за это дали прозвище мне — последний единоличник.

— Что ж ты задержался?

— Стар я стал, привык работать в одиночку, характер у меня угрюмый, неартельный. Бывает, я целый день слова ни с кем не скажу, только разве на кого из семейных прикрикну. Горько мне станет, я в лес уйду, спину с глаз людских на несколько дней. В колхозе же всегда приходится вместе с народом быть, а я неуживчивый.

Но жена мне покою не дает. Все выглядела, вызнала, ей все там по душе, женщины в почете, на собрания сами вопросы решают, а главное завидно на доход. Сосед в колхозе заработал, говорит, втрое больше тебя, вдова Матюшина на весь год хлеба получила. Все это, ясное дело, хорошо, но вот опасаясь я за свой характер,

— В колхозе переделаешься! Нешто ты не видишь, как люди там развиваются, растут, — уговаривают его ребята.

— Меня не разовьешь. Поздно.

— Ничего не поздно, а в самый раз. Мы в вашей деревне сегодня ночевать будем. Пойдем, угости нас чайком, мы там тебе подробно свое соображение расскажем и потолкуем: как, что и почему.

— Идемте, — отвечает им Крот, — хорошие вы ребята, веселые, только все исписаны... Куда путь-дорожку держите?

— А мы, дядь, культурная эстафета, на лыжах бежим докладывать, сколько народу за эту зиму читать-писать обучилось.

— А ну, трогайтесь, — я погляжу, прытко ли вы бегаєте. Хорошие вы ребята, веселые, радостные и почему-то все исписаны.

— А это, дядь, на нас лозунги.

Поговорили они с ним за чайком по душе, от чиста сердца, развеселили его и он в тот же день насмелился — в колхоз вступил, а они утром встали спозаранку и побежали дальше, только их и видели. Вот работает Крот в колхозе, привыкает помаленьку, чувствует себя благоприятно, в зажиток входит и вроде как чудеса показывает. Мужик-то он нелюдим, малоречив, но не лентяй и до дела охочий. Встает юн, скажем, работать севцом; соседи жалкуют над ним: «ноги у тебя, старьей, отымутся, норма-то ведь два га».

— Я еще в силах, буду стараться, может, молодых обставлю. Одного я прошу у вас, — говорит он бригадиру, — не торопите меня и не дергайте, неторопом я больше свершу, ну, когда же я тороплюсь, то становлюсь совсем bestолковый, — теряюсь и скоро устаю.

Берется он и неторопом сеет. Бродит и бродит по полю без остановку, как маятник. В первый день засеял четыре га, во второй четыре га и так до самого окончания. Понимать надо — удвоил норму. После весеннего сева начинается вывозка навоза, подъем паров. Стал Крот навоз из хлевов на телеги наматывать, с ним еще два человека рядом встали, получилось как бы звено.

— Вот, что, дружки мои, колхознички, — сказал он им, — как я постарше вас годами и порядком потер в жизни свой хребтню, слушайте, что я скажу. Работать будем так: зря не толкаться, не торопиться, поддевать всем сразу большими ломтями, класть на то место, куда я крикну.

Благодаря этой плановой установке кротовское звено вышло на первое место.

Подняли пары. Наступил сенокос. Лето выдалось жаркое, зной огнем палил. И в ту пору в колхозе случилась беда. На овчарне падеж начался. Сошлись колхозники на собрание. Нашего злосчастного чабана Проню ответ заставили держать.

— Мрут и мрут, — развел руками Проня, — а я почему знаю отчего. Поезжайте за скотским доктором, он по-ученому все выяснит. Я техникумов не проходил, болезней не изучал, овец я пасу не обижаю, сами мрут.

Тут некоторые заговорили, что ферма прибыли не приносит и ее надо разрушить, но получили отпор и стихли, как миленькие.

Тут выступил наш неразговорчивый Крот, затронуло его, взяло за живое. Встал со скамейки и, не попросив слова, начал Проню отчитывать.

— Падеж получился от полного твоего, Прокофий, нерадения к делу. Всякое трудовое дело любезно, надо обожать его и тогда будет в работе толк, а ты не любишь овчарню, душа у тебя находится в охлаждении, и получается громадный урон колхозу, стало быть, карману каждого из нас. Овца — животное драгоценное:

обуваает, одевает, мясом кормит. Овца — животное прибереговатое, его надо приберегать, следить за ним в оба глаза, а ты пасешь безо всякого соображенья, гоняешь в зной по молодому лиственнику, а там овцу поражает овечий овод, пасешь стадо по холодной росе...

— Возьмись сам, коль ты такой специалист, — обиделся Проня.

— А что ж... доверит мне народ, возьмусь. Я это дело знаю, как свою жену. Я, брат, с девяти лет до самой женитьбы пастушил.

Собрание за это и ухватилось, назначило Крота чабаном.

— Что — напросился? — смеется Проня, — достанется тебе на орехи. Глупее овцы нет скотины. Утку никогда не накормишь, овец в стаде не считаешь.

— Что до того, что напросился — в этом стыда нет, я хочу колхозу хорошего, а овца — животное по-своему способное, только его надо понимать.

Падеж овец с пятнадцати процентов свел новый чабан до двух. Прошел год, другой, ферма преобразилась. Романовская овца плодovита, и приплод на ферме теперь уже исчислялся по три ягненка на овцематку, каждая овца с приплодом давала по три с половиной килограмма шерсти. Ферма приносила колхозу богатство, и о ней стали заботиться все колхозники, не только один чабан. Крот теперь стал не Крот, а перерожденный человек, настоящий колхозник Семен Андреевич Кротов. Колхозную жизнь он полюбил всем сердцем, работал все лучше и больше, а силы у него все прибавлялось и прибавлялось.

В один распрекрасный день вызывают его партия и правительство в Москву на съезд передовых животноводов и награждают орденом за примерную работу. Вот какой почести простой овечий пастух удостоился! А лыжников он много раз вспоминал, замечательные, говорит, ребята, молодец к молодцу, очень жизнерадостные и разумом светлые. Каждую зиму перед весной в поле выходил. Верилось ему, что опять встретит этих ребят. Хотелось ему в гости их к себе позвать, поблагодарить от всей души, показать, как знаменито теперь живет. Но не дождался он своих гостей, нет, так больше никогда и не пробегали мимо Деяновки эти хорошие ребята.

Видел на съезде Семен Андреевич великого Сталина, много говорил с мастерами животноводства других краев и областей, осмотрел красную столицу. Когда же его пригласили к товарищу Калинину получать орден, увидел он в приемной одного военного, знакомого лицом.

Командир подходит к нему и говорит:

— Мне кажется, что я вас где-то встречал?

— И мне сдается, что я, надо быть, где-то вас видел.

Сели они рядом и стали вспоминать. Командир молодой, память свежая, он скорее на правильный путь попал.



— Вы, говорит, откуда?

— Из Деяновки.

— Деяновка... Деяновка... А-а, вспомнил! Помнишь мы вашей деревней на лыжах пробегали и, кажется, вам в колхоз советовали вступить.

— Вот оно самое и есть, — обрадовался Кротов, — огромное вам спасибо. Я живу теперь хорошо, сегодня буду орден получать за хорошую работу на овчарне. А вы?

— А я теперь служу на границе, — отвечает командир, — награжден за подвиг.

На другой день он зашел к Семену Андреевичу в гостиницу поговорить о родных краях. Дело было зимнее, очень холодное и пришел он в дубленом полушубке до колен. Кротов, как овцевод, заинтересовался: какая овчина, какой овцы, не тяжела ли шуба, тепло ли согревает.

— Морозы у нас там бывают очень сильные, — говорит командир, — но ничего, шуба греет отлично.

— Овчинка-то нашей романовской овцы, — любитесь Кротов, — мы ее воспитываем, в том числе и я, и мне очень отраднo, товарищ командир, что и мои овчинки нашу непобедимую любимую согревают.

Поговорили они всласть о родном крае, о колхозах, командир пожал Кротову руку, отдал честь и пошел красивый, статный такой молодец... ну, здесь и сказке конец.

— Таких сказок у нас наберется много, — сказал он после недолгого молчания, — а старые мы уже забывать стали. Вот старуху вы зря упустили. Вам бы надо следом за ней. Она, поди, старинки-то много помнит.

К вечеру лес поредел, дорога вышла на поля, показалась небольшая деревня. Солнце опускалось за леса, обливая розовым светом тихую лесную окрестность.

Из перелеска к деревне двигалось серой тучей большое овчье стадо. Колхозники возвращались с полей, радушно приветствовали старика, спрашивали, хорошо ли отдохнул.

— Очень хорошо, — говорил он всем, — было там весело, кормили хорошо, без мала на четыре кило прибыл.

Первым делом старик зашел на овчарню узнать, все ли там благополучно, потом нехотя двинулся домой.

— Вот, располагайтесь тут удобнее — у меня просторно, живу я только со своей старушкой. Дети мои — пять человек — все уже поднялись на крыло: кто агроном, кто командир, кто партийный работник... Бывает, приезжают сюда отдохнуть, сходить со мной на охоту.

— Звать-то вас Семен Андреевич? — спросили мы.

— Точно...

— Вы здесь овчарней заведуете?

— И это правильно.

Он отпер свой дорожный чемодан. В нем были: черного сукна

костюм, пара белья, запасная майка, грудка ракушек и цветных камушков.

Семен Андреевич отряхнул костюм и бережно повесил его на стенку.

На отвороте пиджака в косых лучах закатного солнца загорелся орден.

## СПИРИДОН ПЕТРОВИЧ

Спиридон Петрович подкатил к школе на мощном жеребце клейдесдальской породы, вылез из саней и привязал его к воротам.

Рядом с исполинским жеребцом он, худощавый и низкорослый, казался ребенком, но опромный конь был послушен каждому его жесту. Чтобы выглядеть солидней, Спиридон Петрович носит высокую мохнатую шапку.

Крепко привязав коня, он по тропинке, запорошенной молодым снегом, важно шествует в школу.

В коридоре школы тишина.

Закинув руки назад, он медленно прохаживается по коридору и, как творение рук своих, разглядывает пол, стены, потолок. Подошел к окну, приставил ладонь к раме у косяка — не дует ли?

Из-за дверей доносятся голоса учителей и школьников. Спиридон Петрович прислушался. Вот голос его сына — учителя. Ему нравится, что сын говорит уверенно, отчетливо. Он любит основательность в работе.

Сам он почитается видным конюхом в районе и сын у него учитель.

Приятно.

«Мне в свое время в школу не довелось ходить, а вот сын мой большое ученье прошел и сам теперь учит, — мелькает у него в мыслях. — Бывало мне именованья другого не было, как только Аршин с шапкой, а теперь все в один голос — Спиридон Петрович... Сам в чести и сын в почете».

Зазвенел звонок. Одна за другой открылись двери классов. Перемена.

Спиридон Петрович торопливо снял обеими руками шапку.

Учителя знают этого маленького степенного человека и почтиительно здороваются с ним.

— Дядя Спиридон приехал, — кричат школьники и бегут к выходу, но предусмотрительная сторожиха поспешила замкнуть дверь.

Дети норовят увидеть великана-жеребца дяди Степана. Их не выпускают, чтобы не простыли.

Вышел сын Евгений Спиридонович — белокурый, румяный юноша. Отец здоровается с ним за руку, обращается на вы, как

это водится — подметил Спиридон Петрович — в учительской среде.

— Евгению Спиридонычу!. Приехал звать на свадьбу. Валя замуж выходит!.. С осени у нас в колхозе свой агроном... Вот они познакомились, дальше да больше, хотим, говорят, вместе жить. Живите... В воскресенье свадьба. За вами лошадь пришлем... Надо почтить сестричку...

Не успевает сын расспросить обо всем — перемена кончилась. Отец провожает его до дверей класса. Там стихает шум, хлопает последняя доска на парте запоздавшего ученика, и вот уже слышен голос юного учителя. Спиридон Петрович стоит у дверей. Слушает.

Истинно — наслаждение. Сын учителем стал...

Он водружает на голову тяжелую шапку и с просветлевшим, счастливым лицом тихо идет по коридору. У выходной двери свертывает в сторону и стучится в комнату сторожика.

Она топит русскую печь, лицо ее алеет от печного жара. Она сжилась с детьми, со школой, работает здесь давно; убирает классы, дает звонки и за доплату готовит холостым учителям обед.

Спиридон Петрович присаживается на табуретку, прищуренным взглядом осматривает стол, горшки, миски. Чисто ли она готовит интеллигентным людям?

— Сынка приехал проведать? — спрашивает сторожика, опираясь на рогац.

— Как же... Надо... Надо!.. Как он тут? Хорошо ли учит? — строго спрашивает приезжий.

— Старается... Так что не беспокойся. Поголовной успеваемости добивается. Надо быть, достигнет.

В душе конюха неудержимое ликование, но он хмурит брови и сурово заключает.

— Так и следует.... Работа лучше всего. Надо, чтобы человек বেশ в деле был.

Ему не сидится. Неожиданно он срывается с места и уходит. Арефьева недоуменно разводит руками:

— Забыл что ли чего?

Спиридон Петрович возвращается с мерзлой бараньей тушкой, обернутой в рогожу. Он кладет ее на табуретку и говорит:

— Гляди сюда и слушай... Утром ему поджарочку, к обеду — котлетки. Работа ведь у него — умственная!

— Умственная, Спиридон Петрович, умственная! — певуче тянет Арефьева, развязывая рогожу. — Сколько знаний надо в голове-то держать!

Через полчаса Спиридон Петрович сидит за столом и пьет чай. Он разговаривает, делая вид, что совершенно забыл о бараньей тушке, как будто это мелочь, не стоящая внимания.

— Дочку замуж выдаю, — рассказывает он, отхлебывая обжигающий губы чай. — Все обзаведенье у нее есть, только вот мебели никак не найдем красивой... Был я тут в городе — искал, искал — все не то, не подходящее... Осталось у меня свободное

времечко, зашел в музей поинтересоваться. Поглядел на птиц, зверей, на высушенное тело под названием мумия. Занятно. Потом пошло оружие и вдруг... мебель!.. Залюбовался, ноги не отходят... Тут женщина приставлена, чтобы руками ничего не трогали. Я к ней. Позовите, говорю, заведующего... Очень мне нужно с ним поговорить. Стою, жду. Вернулась. Вот директор.

— Привет!

— Здравствуйте.

Оглядываюсь кругом и тихонько говорю ему:

— Вот, гляжу я, мебель-то очень удобно сработана: и прочно, и легка, и места немного занимает. Не продается ли она у вас? Да, нет, говорит, не продается... А может как... Скажем, место понадобится под какую диковину или что там еще... Я бы купил... И за ценой не постоял бы... Нет, говорит, и нет!..

— За агронома выдаешь? — спрашивает сторожика, знающая все, что делается в округе. — Вольготно живешь, Петрович.

— Чего удивительного, — с оттенком обиды отвечает конюх. — Мы сами теперь агрономы. Дочь-то у меня детским комбинатом в колхозе ведает.

— Дети-то, дети-то нынче! — ахает старуха, — звездами сияют!

Перед концом занятий в школе конюх прощается со старухой и уходит.

У ворот он отвязывает коня. Исполинский жеребец, выгнув серпом мощную шею, горячим глазом рассматривает сверху своего маленького повелителя. Спиридон Петрович удобно усаживается в санки и выезжает на дорогу.

Холеный клейдесдал, тяжело ступая толстыми ногами, идет ровным и спорым бегом.

Снег сыроват. Скоро весна. С полей налетает бойкий, шаловливый ветерок.

С подков жеребца в передок санок то и дело летят круглые и широкие ошметки снега.

Санки быстро удаляются.

Над спинкой санок возвышается высокая, мохнатая шапка Спиридона Петровича.

## ПЧЕЛКА

Председателем колхоза у нас работает Леонид Емельянович Кокошников. Ему двадцать четыре года. Он комсомолец. Высокий, широкоплечий парнище. Все Кокошниковы на отличку рослый народ, а он выше всех. В поле за километр увидишь — председатель идет.

Малые ребята иногда увяжутся за ним, с насмешкой:

— Дядь Леня, достань воробушка. — Он ухватит какого-нибудь

мальца из насмешников, усадит к себе на плечо и пойдет с ним по улице, и скажет:

— Доставай сам, мне некогда.

Несмотря на молодость, волос его совсем одолевал, но брился он не часто.

Одевалась в майку-безрукавку, суконные галифе и красноармейские сапоги на двойной подошве.

Утром он первым делом зайдет ко мне, просмотрит счета, поговорит о предстоящих расходах, одни одобрит, другие отставит, любит он в денежных делах порядок. Счетное дело вести с ним хорошо; ну, правда, достается изрядно, работать много приходится.

От меня он отпраится по фермам, по полям. Огромный, внушительный и мужественный, ходит он медленно и как-то тяжело, с колхозниками разговаривает коротко и будто невзначай. Остановит кого-нибудь, посмотрит долгим, юношески светлым взглядом и спросит:

— Сделал ли?

— Понимаешь...

— Надо сделать. Вечером опять спрошу.

И не забудет, спросит. Память у него изумительная.

Большой, немногословный, охочий до дела парень, с характером настойчивым и упрямым, он работал ровно, без толчков и прорывов. Колхозники его любили за постоянство, заботливость и пылкое благородство юности.

В иные дни он совершенно преобразался, в правление приходил беспокойный и великолепный, в шелковой бледнозеленой рубашке, белых в полоску брюках «чарльстон» и желтых ботинках.

В такие дни мы уже так и знали — сегодня районный пчеловод придет. У нас в колхозе большая пасека, она считается в районе примерной, к нам ходят из других колхозов глядеть на постановку дела, перенимать опыт. Надо честь отдать — районный пчеловод помогает, поддерживает славу пасеки, часто навещая наш колхоз. Нынче она провела у нас вывозку ульев на клевера, на посевы лугопастбищных трав, что улучшило опыление и увеличило медосбор.

Сегодня Леонид явился с утра шарядный, чисто выбритый и заметно волновался, поглядывая в окно.

Она приехала на велосипеде. Ездилла она всегда полевыми дорожками и тропками, ездилла медленно, чтобы не вспотеть. Пчела не любит запаха пота. Представьте себе небольшую, кругленькую блондинку. Загар нежно-шоколадного цвета резко оттенял ее пышные волосы. Хороши глаза у этой девушки: ясные, чистые, всегда спокойные и откровенные. Одета она была сегодня в цветное узкое платье, которое особенно рельефно выделяло всю ее фигурку. Родом она из деревни Матрохино нашего района. Отец ее имел с пяток ульев на своем огороде. Дочурка так пристрастилась к пчелам, что решила стать ученым пчеловодом. Окончив семилетку, она разыскала пчеловодный техникум где-то на юге и

укатила туда учиться. Через четыре года вернулась на родину и стала районным пчеловодом.

В нашем колхозе относились к ней с тем приветливым поклонением, какое проявляют умные взрослые люди к талантливому красивому ребенку.

— Пчела ее очень любит, — сказал как-то в правлении пасечник.

— Ее любит не только одна пчела, — неожиданно вырвалось тогда у председателя.

Ее простая, радостная, долговечная красота и шапка белокурых волос очень гармонировали с полями спелой пшеницы и белесоголубыми полевыми далями.

Скромная и деятельная, женственная и настойчивая, на редкость красноречивая и приветливая, она вызывала у всех невольную симпатию.

В глаза мы ее величали почтительно Натальей Ивановной, а между собой звали Пчелкой. Моя мать — бойкая, острая на язык старушка — не раз говорила:

— Невелика репка, а сильно крепка. Ну и Пчелка.. Летает, жужжит, сердце радуется... Таких до гроба любят. Будь я парнем, не упустила бы я эту невесту.

Я делал вид, что не понимаю ее, мне хотелось сказать ей: «милая, дорогая мама, легко говорить, но каково мне.. насильно мил не будешь», — но я молчал.

Сколько раз я старался заинтересовать Пчелку собой. Прочитал целую кучу брошюр по пчеловодству, толкался на пасеке, чтобы показаться ей человеком родственных интересов и увлечений, писал стихи, и ничто не тронуло ее. Ничем я не мог вызвать в ней ни печали, ни восторга, ни волнения... Тут уж ясно — надеяться не на что.

Она приехала сегодня после полудня. Неторопливо и тихо пошла в правление, равнодушно кивнула мне и присела на диван... Леонид зарумянился, глаза его просветлели. Разговаривая с ней, председатель без всякой надобности листал бумаги, аккуратно откладывал их в сторону и вновь брался за них и вновь листал. Пришел председатель ревизионной комиссии Леванов и пасечник Комарьков.

Оказалось, что Наталья Ивановна приехала на пасеку снимать рекордный взятки. Его должны видеть — председатель колхоза, председатель ревизионной комиссии, районный пчеловод; они должны составить акт и заверить своими подписями. Они ушли. В правлении стало тихо и тоскливо. Я смотрю в окно. Впереди идет Пчелка с пасечником. За ними в некотором отдалении Леонид, празднично одетый, высокий, прекрасно сложенный, цветущий великан; рядом с ним ковыляет коренастый Никита Леванов. Вместо правой ноги у него деревяшка, он закидывает ее, описывая полукруг. За ним текут струйки пыли. Я смотрю на Пчелку. Она, всегда верная себе, идет плавно, неторопно, изредка кивает встре-

чным своей маленькой гордой головой. Вскоре они скрываются за селом, в молодом саду, где находится пасека.

Я щелкаю на счетах, вписываю в книги цифры и часто взглядываю в окно. Жду их возвращения. Мне хочется увидеть Пчелку. Зачем? Ничего я от нее не требую, ничего не жду, мне просто хочется еще раз поглядеть на нее. Но так я и не дождался. Никто из них не зашел в правление. Все они исчезли куда-то. После обеда я опять уже был в правлении, работал, — колхозная копеечка, знаете, любит счет.

Сижу — щелкаю, вписываю... Солнце склоняется к закату. Дневной зной спадает. В такое время дня дело вдоворо спорится. Заявляется ко мне Емельян Кокошников, отец председателя, передает мне распоряжение сына относительно завтрашних операций. Я тревожно спрашиваю:

— Леонид где?

— Поруха с ним вышла, — с досадой машет рукой старик.

— Пчеловодка завела его сегодня на пасеку медовый рекорд подписывать, и вдруг пчелы тучей надели на моего Леонида и так укусили, так изжалили его, что парень распух весь... Сейчас я от него из больницы иду. Лежит гора-горой. Вот до чего!.. Подхожу к саду — пчеловодка бредет, велосипед за рожки катит. Остановила меня, беспокоится: «не могу понять, отчего пчелы на него освирипели!»

— Я тоже, говорю, никак не пойму.

— Может он потный был? — задумчиво спрашивает меня.

— С чего ему потному быть, отвечаю, его работа умственная...

— Может в нетрезвом состоянии? Пчелы не любят винный дух...

— Поклянусь за своего парня — не выпивает. Привычки он, говорю, к горькому еще не возымел, а может и совсем никогда не будет закладывать.

Дернула плечиком, приладилась на велосипед садиться и говорит:

— Тогда я ничего не понимаю.

— Я тоже не знаю на что подумать.

— До свиданья.

— Счастливой дороги.

На другой день она незаметно, неслышно опять появилась в правлении. Отодвинул я счета, потянулся за табаком — очередная передышка. Вскинул глаза — она сидит на диване.

— Привет. Вы к председателю? Он в больнице.

— Я прекрасно знаю.

Тогда зачем же, думаю, она сюда... Может ко мне?! Кто знает девичью душу.

В приливе внезапного оживления и веселости я встал, подсел к ней и в те минуты сам себя не узнал бы. Я шутил, смеялся, откровенничал, пышно излагал свои переживания и вскоре остыл, заметив, что надоед ей.

— Зачем вы сюда пришли? — неожиданно строго и резко спросил я ее.

— Не знаю.. Мне приятно посидеть на этом месте.

Ленька, чорт долговязый, как я завидую тебе!

Мне вспомнились слова матери-старушки относительно «не упустил бы».

Представим несбыточное — она стала моей женой. Она живет с нелюбимым человеком, она страдает, она несчастна... Какая это не-лепица, какая боль. Нет, наша Пчелка должна быть всегда счастливой. Я не нуждаюсь в любви из жалости, милости и снисхождения. Где-то есть девушка, которая всем сердцем полюбит и меня. Я повернулся к Наташе и говорю:

— Хотите, я вам скажу, отчего Ленку пчелы истерзали? — Она сразу оживилась, встряхнулась, даже руку мне на плечо положила:

— Скажите!

— Скажу. Он не в меня, он несмелый и любит вас безмерно и не смеет об этом сказать... Каждый раз к вашему приезду он готовится, как к празднику: бреется, одевается во все лучшее, обливается тройным одеколоном, а в одеколоне спирт, а пчелы не любят запах спирта... Понимаете? Да, он любит вас.

Она встала и, скрывая радостное волнение, молча вышла из правления. Я видел в окно, как она, изменив своей привычке, поспешно вскочила на велосипед и стремительно помчалась за село в больницу.

Там они, видно, объяснились до конца. Через три дня Леонид является на работу, подходит ко мне, крепко жмет руку и довольно ухмыляется.

— Я на тебя не сержусь, — басовито бормочет он, — ты парень большого сердца... Это теперь ясно...

Проходит день, другой. Слышно по стороне, что они решили пожениться, вот-вот будет свадьба.

Леонид молчит, на свадьбу не приглашает. И я молчу. Отношения у нас на официальной ноте, работается мне безрадостно. Я начинаю сердиться и думать о нем презрительно: «Боишься, считаешь меня соперником. Плохо, видно, оценил ты меня».

Но все это оказалось не так. Я удостоился особого приглашения. Приходит ко мне Пчелка и сама приглашает на свадьбу. Потом говорит:

— Вы, изверное, на меня в обиде, но ведь сердцу не прикажешь.

Свадьба Леонида и Пчелки была веселой и многолюдной. Наташа рядом с крупным, плечистым Леонидом казалась еще более изящной и красивой. Она коротко кивнула мне своей светловолосой круглой головкой и прижалась к Леониду. Большие карие глаза ее сияли счастьем.

Отец Леонида старческой трясущейся рукой поднял рюмку и произнес речь.

— Мы, бывало, женились — горе горькое... — заговорил Емельян Кокошников. — У соседа я брал пиджак и рубашку под венец съез-



дять... На другой день сосед приходит спозаранку — давай, говорит, одеву-то! Перед молодой женой до чего ж стыдно мне было... А теперь сын мой в шелку в будний день ходит, пригоршней духи на себя поливает...

Леонид сконфуженно опустил голову, а Наташа залилась звенящим смехом. И гости рассмеялись, чокнулись, и начался свадебный пир.

В течение всего гулянья Пчелка ни разу не остановила на мне своего взгляда, — она была счастлива, ей не до меня. Я того и добивался. Славная Пчелка, ты права! Какая неволя в наше прекрасное время приказывать сердцу любить того, к кому не тянется душа. Нет этой неволи, и в том наше молодое счастье.

Счастливых дней, Пчелка! Я не в обиде. Где-то есть девушка... Я найду ее!

А. БЛАГОВ

## ПЕСНИ

### I. Песня старого ткача<sup>1</sup>

Помню я, ребята,  
Год великий Пятый:  
Встали мы прозою на господ.  
Время это славное,  
Время это давнее  
Никогда в народе не умрет.

Кончена работа,  
Вышли за ворота  
Тысячи ивановских ткачей;  
Их шаги промовые,  
Голоса суровые  
Потрясли хоромы богачей.

Не забуду Талку,  
Где волною жаркой  
Речи большевистские лились,  
Где за жизнь народную—  
Светлую, свободную—  
До конца бороться мы клялись.

Годы миновали—  
Все свое мы взяли:  
Наша — вся Советская земля,

<sup>1</sup> На Всесоюзном конкурсе на лучшую песню о текстильщиках „Песня старого ткача“ получила четвертую премию. Музыка к ней написана ивановским композитором Н. Смирновым.

Дали безграничные,  
Корпуса фабричные,  
Щедрые колхозные поля.

Весел он и молод,  
Наш текстильный город,  
Этажами в небо вознесен.  
Слушай, Талка быстрая,  
Песни голосистые —  
Музыку станков и веретен.

Весел он и молод,  
Наш рабочий город,  
Фабрики шумят из края в край, —  
Фабрики красавицы,  
Что повсюду славятся  
Тканями цветистыми как май.

Если ж будет нужно  
Взяться за оружие  
Против иноземных палачей, —  
Как один поднимется,  
В бой последний ринется  
Армия ивановских ткачей!

## II. Дуся Виноградова<sup>1</sup>

Голоса веселые, звените,  
Ты послушай, вольная страна:  
О ткачихе нашей знаменитой  
Молодая песня сложена.  
На парад идем мы с этой песней,  
Полной грудью девушки поют,  
Что по всей республике известен  
Славный виноградовский маршрут.

Подрастала дочь семьи рабочей,  
Подросла, и в путь ее повел  
До ученья, до труда охочий  
Боевой сплоченный комсомол.  
И не знала Вичуга родная,  
Не ждала, не думала о том,  
Что вот эта девушка простая  
Станет знаменитостью потом.

<sup>1</sup> Музыка В. Иванникова.

Загорелись яркою зарею  
Над землей стахановские дни,  
Хлынули широкою волною  
В корпуса фабричные они;  
И пошли гулять по ткацким залам,  
От работы старой далеки,  
Загремели хором небывальым  
Дуся Виноградовой станки.

В сердце бились жаркие желанья,  
Мысли-думы улыбались ей:  
Больше всех добротной белой ткани  
Я натку для родины моей,  
Все вперед шагала без тревоги,  
Выше, выше поднимая труд.  
И сегодня по ее дороге  
Тысячи подруг ее идут.

Голоса веселые, звените,  
Ты послушай, вольная страна:  
О ткачихе нашей знаменитой  
Молодая песня сложена.  
На парад идем мы с этой песней,  
Полной грудью девушки поют,  
Что по всей республике известен  
Славный виноградовский маршрут.

### III. Прядильщица <sup>1</sup>

Пускаю машины  
Привычной рукой:  
Гудят веретена  
Весенней рекой;  
Веселые шпули  
Ведут хоровод,  
И сердце с машинами  
Вместе поет:  
Вейся пряжа  
Ровная — на диво —  
Для основы, для утка,  
Чтобы наша  
Ткань была красива,  
И красива, и крепка!

<sup>1</sup> Музыка руководителя вичужского хорового кружка И. Смылова.

Великое счастье —  
В труде побеждать,  
С почетными сестрами  
Рядом шагать;  
Подруга-ткачиха,  
С тобой мы в ладу:  
Добротные нити  
Тебе я пряду.

Вейся пряжа  
Ровная — на диво... и т. д.

И нет, не будет  
Вернее пути —  
Расти и учиться,  
И снова расти;  
По этой дороге  
Иду я вперед:  
Работаю честно,  
Как Сталин зовет.

Вейся пряжа  
Ровная — на диво... и т. д.

Могучие птицы  
Гудят в облаках,  
Родные границы —  
В надежных руках.  
И я за машинами  
Зорко слежу,  
Любя свое дело,  
Народу служу!

Вейся пряжа  
Ровная — на диво —  
Для основы, для утка,  
Чтобы наша  
Ткань была красива,  
И красива, и крепка!

#### IV. Стахановка<sup>1</sup>

Льетса солнце прямо в окна  
С голубой вершины дня  
На широкие полотна,  
На веселую меня.  
Все станки мои в порядке,

<sup>1</sup> На Всесоюзном конкурсе на лучшую песню о текстильщиках „Стахановка“ получила первую премию. Музыка к песне написал С. Прокофьев, один из крупнейших советских композиторов.

Верен каждый мой прием,  
Все основы и початки  
Станут добрым миткалем.  
День рассчитан по минутам,  
За работой люблю мне:  
Виноградовским маршрутом  
Овладела я вполне!  
Как же мне не быть веселой,  
Не учить своих подруг —  
Мне стахановская школа  
Завсегда хороший друг.  
Под рукой моей привычной  
За куском растет кусок;  
Я узнала на «отлично»  
Весь до винтика станок.  
День рассчитан по минутам,  
За работой люблю мне:  
Виноградовским маршрутом  
Овладела я вполне!  
Жизнь открыла перед нами  
Небывалые пути:  
Я — ткачиха за станками —  
Буду крепнуть и расти,  
Чтобы в праздник на параде  
О победах новых петь,  
Чтобы высшую награду  
Мне от родины иметь!  
День рассчитан по минутам,  
За работой люблю мне:  
Виноградовским маршрутом  
Овладела я вполне!

## V. Марш текстильщиц<sup>1</sup>

Мы фабричных цехов мастерицы,  
Мы подруги высоких побед.  
За шелка, за чудесные ситцы  
Нам везде и почет, и привет.  
В необъятную ширь —  
На Амур, на Кубань  
Паровозы несут  
Первосортную ткань.

<sup>1</sup> Музыка братьев Дан. и Дм. Покрасс.

От границ до границ  
Новых песен полна,  
В самый лучший наряд  
Одевайся, страна!

Наша воля в труде безгранична,  
Наши смелые мысли поют:  
День рабочий — работать отлично  
Все часы до последних минут!

В необъятную ширь —  
На Амур, на Кубань... и т. д.  
Мы к науке стремились недаром —

Перед нами пути широки:  
Ходят точно — удар за ударом —  
Ватера, банкаброши, станки.

В необъятную ширь —  
На Амур, на Кубань... и т. д.  
Развернулся богатой обновой

За широкою гладью витрин  
Голубой, золотистый, пунцовый,  
Как весеннее поле, — сатин.

В необъятную ширь —  
На Амур, на Кубань... и т. д.

За шелка, за чудесные ситцы  
Нам везде и почет, и привет.  
Мы фабричных цехов мастерицы,  
Мы подруги высоких побед.

В необъятную ширь —  
На Амур, на Кубань  
Паровозы несут  
Первосортную ткань.  
От границ до границ  
Новых песен полна,  
В самый лучший наряд  
Одевайся, страна!

Ев. БАРАНОВ

## ГРОЗА

Мне темных туч сияние и рокот,  
А для земли и для ее корней  
Она несет сокровища потоков,  
Чтоб жизнь цвела богаче и пышней.

По небосклону светлые зарницы  
Все выше поднимаются вдали.  
В садах тревожный ветер шевелится  
И по дорогам кружится в пыли.

Гроза растет. Отчетливо и ясно  
Она чертит зигзаги в высоте.  
Их не прочесть. Они мгновенно гаснут,  
Едва блеснув на трепетном листе.

Недолго ждать. Плотнее туч волокна.  
И в душном воздухе грозе невмочь —  
И белым полымем она прольется в окна,  
И задрожит и побледнеет ночь.

Разорванная в дымовые клочья,  
На миг один она смыкает тьму.  
Мне кажется, что пламень бурной ночи  
Прошел грозой по сердцу моему.

Потоками земного изобилья  
В ударах грома тучи истекли,  
Лишь молнии изломанные крылья  
По небосклону мечутся вдали.



## СТИХИ

Как луч зари, как теплоту рассвета,  
Я полюбил сиянье мерных строк, —  
Стучится в сердце беспокойный ветер,  
И кровь волнует звучный их поток.

Когда и где их красота родилась,  
И как дошел их пламень до меня?  
Но вся земля со мной заговорила,  
Словами листьев ласково звеня.

Кровинка каждая их теплотой согрета,  
В них человек и светел и высок;  
И озарен их плодотворным светом  
Моей души проснувшийся росток.

Пусть над листвою отшелестело солнце, —  
Они несут мне часть его тепла;  
И жизнь глядит в открытые оконца,  
Как облака нарядна и светла.

Д. М. СЕМЕНОВСКИЙ

## ШОТА РУСТАВЕЛИ

Раскрыл я книгу — и ее слова,  
Как струны, в сердце сладко зазвенели...  
Певуча вдохновенная молва  
Великого творенья Руставели.  
Бессмертной розой, пережив века,  
Цветет благоуханное творенье,  
И не поблекла ни одна строка,  
И жарко чувств возвышенных горенье.  
И славно имя мудрого творца  
Поэмы дивной «Вепхис Ткаосани».  
В родной стране оно  
Вошло во все сердца,  
Овеянное дымкою сказаний.  
Неотразимо он чарует нас —  
Во мгле столетий сложенный поэтом,  
Волшебно-увлекательный рассказ  
О незнакомце, в барсов мех одетом.  
Вновь зажигают юный пыл в крови  
Мощь Тариэля, храбрость Автандила,  
Их постоянство в дружбе и любви,  
Их стойкость в бедах, мужество и сила.  
Великому исчезнуть не дано,  
Прекрасное — забвенью неподвластно;  
Как драгоценный самоцвет, оно  
Всегда нетленно и всегда прекрасно.  
Напрасно в пламя площадных костров  
Монахи книгу вещую кидали, —  
Чеканные стихи  
Ее звенящих строф  
Народными пословицами стали.  
Все семь веков народ ее берег

В своем живом вседневном обиходе, —  
 Хранил ее, как дорогой залог  
 Всего, что есть прекрасного в народе.  
 И в наши дни цветущие она  
 Вошла осуществленным обещаньем,  
 Для всех близка, для каждого полна  
 Глубоким и пленительным звучаньем.  
 О чем мечтал поэт,  
 То в наше бытие  
 Вступило прочно былью золотою.  
 ... «Что отдал ты, то навсегда твое,  
 Что спрятал ты, утрачено тобою».  
 «От битвы отступить —  
 Победы не видать».  
 «Ценней сокровищ — братская услуга».  
 «Мы за живущих жизнь должны отдать».  
 «Вдвойне опасен враг в обличьи друга».  
 Как нашей родине  
 Созвучна красота,  
 Что миру дал грузинский чудный гений,  
 Как радостно волнует широта  
 Его высоких мыслей и стремлений!  
 Всегда поэма мудрая юна,  
 Алмазные стихи не постарели.  
 И всем народом чтит  
 Советская страна  
 Торжественное имя: Руставели.

## ЮРЬЕВЕЦ

Поднимись по тропинке на темя высокой горы,  
 Встань у края обрыва  
 И взгляни, как за Волгой лугов разлетелись ковры,  
 Как синее лесная дремучая грива.  
 И, мечтой улетающая туда, где туманы легли,  
 К полным тайны и сумрака борам, —  
 Ты вздохни всей громадой воды и цветущей земли —  
 Всем великим простором.  
 Ты почувствуешь, как вырастает и крепнет душа,  
 Обновляется клетка за клеткой.  
 Красноствольные сосны тебя обступили, дыша  
 Каждой дымчатой веткой.  
 А внизу, пред подножием глинисто-рыжих холмов,  
 Весь в звучании бодрого гула,  
 Расстилается Юрьевец лентой садов и домов,

Унжа к Волге сестрою прильнула.  
О, каких эта ширь ни навеет видений и дум!  
Вспомнишь древние были.  
Вот по этим тропинкам ступал протопоп Аввакум,  
Здесь и меч и пожары народную силу губили.  
Здесь, раздев бедняка, разживались казною купцы,  
Надрывался бурлак по пескам юрьевецким.  
Та пора далека. Заживают былого рубцы  
Под целительным солнцем советским.  
Посмотри: из прохладно-зеленой лесной темноты,  
Из разбуженных недр захолустья  
Быстроходная Унжа несет смоляные плоты  
На раздолье веселого устья.  
Лесопилка-оса над поволжской звенит шириной,  
И скликают народ на работу заводы.  
Не княжой, не купеческий — новый, иной  
Город смотрится в светлые воды.  
Голубые дворцы пароходов плывут по реке,  
Веют флаги, так празднично ярки.  
Крылья чаек блестят. Быстрый катер бежит налегке,  
Тихо тянутся грузные барки.  
А когда от заката зардеют края облаков  
И тепло озарятся крутые откосы, —  
Как торжественно песни густых пароходных гудков  
Оглашают притихшие плесы!  
Мотыльками трепещут огни в наступающей мгле,  
Потемнела верхушка далекого стога,  
И дрожит от луны на речном переливном стекле  
Золотая дорога.

\*\*

Состарилось лето. Лежит на припеке,  
Лежит на пригорке у тына.  
Обрюзгли цыганские смуглые щеки,  
А в жестких кудрях — паутина.  
Состарилось лето. И больше не надо  
Ни песен, ни страстных томлений:  
Уж ходит за тыном пора звездopaда  
И звонкой прохлады осенней.  
Брусника-грустника под синей осинной  
Давно уж успела налиться.  
Кленовый листок на полянку гусиной  
Отрубленной лапкой ложится.  
И скоро под утро колючая проседь  
В траве забелеет осенней.  
Состарилось лето. А сердце все просит  
И песен, и гроз, и волнений!

Земляника душистая — сплошь  
 Окатила подножия роц.  
 Черника, куда ни пойдешь,  
 Закапала кочки, как дождь.  
 И пальцы и губы твои —  
 В их липкой лиловой крови.  
 На плечи загаром легла  
 Благодать золотого тепла.  
 По душе нам с тобою пришлось  
 Эти сечи, поляны, палы,  
 Просторная блеклая высь,  
 Тонконогих березок стволы.  
 Звон кузнечиков легок и сух.  
 Он, как песня, ласкает нам слух.  
 Эту песню июльскую мы  
 Вспомним в синем затишье зимы.  
 Вспомним поля медовую сушь,  
 Мхов лесных голубое шитье,  
 Шмеля придорожного плаш,—  
 Все летнее счастье свое.  
 И долго, и долго, мой друг,  
 В дни седые морозов и выюг  
 С ваших рук и бровей не сойдет  
 Энойных дней золотистый налет.  
 И бодро пойдём мы с тобой  
 По счастливой дороге труда,  
 Как шли васильковой тропой  
 Вдаль, где леса темнела гряда.

М. КОЧНЕВ

## МАТЬ

После свадьбы в кровать на подклети  
Ты легла, жениха не любя.  
На дешевом, поблекшем портрете  
Я, родимая, вижу тебя.  
Я не помню тебя. Говорила  
Наша добрая бабушка мне:  
Ты в ту осень на сносе ходила,  
Молотили горох на гумне.  
С мужем затемно вместе вставала,  
Становилась к настилу с цепом...  
До забора дошла, застонала,  
Псвалилась на землю лицом...  
Приносили мякины и грязи,  
Клали лед на живот и виски.  
Через сутки просили у князя  
Две сухих сосновых доски.  
На дешевом поблекшем портрете  
В бедном платье, с цветком на груди...  
Как живут твои милые дети,  
Поднимись, моя мать, погляди.  
Загляни к нам в колхозные клетки,  
Погляди на сады, на дома,  
Где резвятся счастливые дети.  
Не дома, а как есть терема.  
Как у нас твое имя любимо,  
Мне словами тебе не сказать.  
Как у нас дорога и хранима  
Гражданина советского мать.

## ДЕТСТВО ЛИЗАВЕТЫ

Лизаветка подросла  
Всех бойчее из села.  
В огород к попу нередко  
Забиралась Лизаветка.  
Никому не уступала,  
Промолчит, когда попало.  
Где за лето ни бывала:  
Как галчонок загорит,  
И с мальчишками играла  
На лужайке в «зубари».  
Говорили ей соседки:  
От нее слова, как град,  
— Бойчина ты, Лизаветка,  
Объездной солдат.  
Не обута, не одета,  
Отдали девчонку в люди.  
Выростала Лизавета  
В горе, в бедах и в остуде.  
— Лизаветка, за теленком,  
— Лизаветка, за ягненком,  
— Лизаветка, мой полы,  
Мой посуду и столы.  
Всех красивей среди девчонок:  
Всеваля, голос звонкий.  
— Ой, красивая, чертенок,  
Огоньки горят в глазенках.  
Что спросить с нее, с ребенка:  
Днем в избе одна осталась,  
Собралась поить теленка,  
Да с теленком заболталась:  
— Мой миленок,  
Мой теленок,  
Белолобый,  
Белоногий. —  
И в глаза друг друга оба  
Смотрят ласково и строго.  
— И тебе у них ведь скука? —  
Говорит она с телком.  
А телок ей лижет руку  
Шершеватым языком.  
— Мой лохматый, мой курчавый,  
Стричься, милый, надо право.  
— Дай тебя я подстригу. —  
И сейчас же побежала,  
С гвоздя ножницы достала,

— Только, слышишь, ни гу-гу. —  
Шерсть пребенкой расчесала,  
Шерсть кудрява и густа,  
И теленка обкорнала  
От ушей и до хвоста.  
— Подыщу тебе невесту:  
Всем телятам не в пример,  
Стал ты очень антиресный, —  
Настоящий кавалер. —  
А хозяин от порога  
Наблюдал исход игры.  
Подбежал он злой и строгий,  
Сгрэб Лизутку за вихры.  
С ней расправился он круто,  
Снял ремень и начал сечь;  
А потом добавил прутом —  
Так насек: ни сесть, ни лечь.  
Посулил на завтра плети  
Всыпать ей, задрав подол.  
На закладку дверь подклети  
Запер с воли и ушел.  
— Лизавета хороша:  
Распрощалася с телком,  
Раму выставив, удрала  
По морозцу босиком.

## КАК ЛИЗАВЕТУ ВЫДАВАЛИ ЗАМУЖ

Мать трещала, как сорока:  
— Где уж нам уж выдать замуж  
Дочь свою в хороший дом.  
В красоте-то мало проку  
И характер крут притом.  
Парни таяли и млели:  
— Лизавета хороша.  
Только сватать не хотели:  
— Нет придана ни гроша.  
Хлопотливые соседи  
Видят — девка неплоха.  
Откопали в мясоде  
Лизавете жениха.  
Вся округа парня знала —  
Никодим да Никодим.



Все от стара и до мала,  
Все смеялся над ним.  
На семейном на совете  
Выбор пал на Лизавету.  
Верно, девка хоть гола,  
Но всех лучше из села.  
За столом сваты сидели,  
Никодим, отец и мать,  
Лизавета жениха-то  
Пригласила погулять.  
Повернули за забор:  
— Не желаешь ли на «двор»?  
Никодим опешил: драла —  
В дом вбегает сам не свой:  
— Ну и дура, что сказала,  
Тятка, едемте домой!  
Мать бесстыдницу ругала,  
Пожурил ее и дед:  
— Хоть и мало в нем ума,  
Хуже — нищего сума.  
— Парень-то невороват,  
Некрасив, зато богат. —  
Лизавета хохотала,  
Подперев бока в ответ:  
— Не найдете молодца  
Лучше Вани кузнеца.  
У него добра — гора:  
Ни кола и ни двора,  
С милым всюду светлый дом,  
Проживем своим трудом.  
Без отцовского совета,  
Без сватов и без венца  
Вышла замуж Лизавета  
По любви за кузнеца.

## ВОРОБЕЙКА

У колодца грязь, как тесто.  
Строить мельницу начнем.  
Я жених, она — невеста,  
Нам пятнадцать лет вдвоем.  
Закричит: «А ну, побей-ка»,  
Если спор я затевал.  
Я невесту воробейкой  
В ссорах часто называл.

Инструменты в грязь закину,  
Хмурый сяду на крыльцо.  
Как яичко воробьиное  
У нее было лицо.  
Сплошь в веснушках. Мы рябину  
У попа ломали впрок.  
Нас застали, я в малину  
Прыг с макушки — и утек.  
Ноги в цыпках, сам, как вакса,  
Кверху нос, хожу — горжусь.  
— Вы, девчонки, все вы плаксы,  
Я вот в летчики гожусь... —  
Годы-птицы пролетели.  
Вновь в село вернулся я.  
Воробейка — член артели  
И пилот, а я, друзья,  
В воздух выше не поднялся  
Ни на метр, ни на вершок.  
Моей гордостью остался  
Мой единственный прыжок.

Д.м. ПРОКОФЬЕВ

# АЛЕКСЕЙ ШКАРОВ

П о в е с т ь

КНИГА ВТОРАЯ<sup>1</sup>

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Сметворно покачивался вагон. Одинокая свеча, поставленная кем-то наспех, еще с вечера ткнулась в разбитое стекло фонаря и погасла, точно поняв, что свет ее никому не был нужен. Люди на всех полках спали безмятежно, по-домашнему храпя и посвистывая. Только Шкарова не мог укачать вагон. Всю ночь пролежал он с открытыми глазами, радостно волнуемый предстоящей встречей с женой, сыном, фабричными товарищами.

Около трех лет смотрел Алексей на мир сквозь небольшое окно тюрьмы. Несколько месяцев из них он провел в одиночной камере, окруженный раздумьем и тишиной. Временами ему казалось, что он теряет способность говорить. И чтоб нарушить удручающее молчанье, Алексей брал книгу и читал ее вслух, прислушиваясь к своему голосу, будто к собеседнику. Или начинал громко петь, расхаживая по камере небольшими, укороченными шагами, чтобы хоть этим увеличить размеры одиночной камеры.

Надзиратель приоткрывал глазок и угрожающим шопотом говорил:

— Не балуй... не дома!

Тяжелее всего Шкаров переживал разлуку. Всякое напомина-

<sup>1</sup> Печатается в сокращенном виде.

ние о семье, о родном городе вызывало щемящее чувство. Ему хотелось видеть и знать все, что происходило за стенами тюрьмы, но за последнее время охрана была так предупредительна, что даже письма жены приходили со множеством тщательно вымаранных строчек, которые нередко превращались в сплошные черные пятна. Однако и по ним, как по молчаливым знакам, Алексей также понимал, что в стране весьма неспокойно, что назревают большие события.

Но время опередило все ожидания Алексея. Он лежал тогда на койке, глядя в потолок, на маленький солнечный квадрат, изрезанный тенью оконной металлической решетки, за которой опять началась весна. Шкаров не думал о весне. Он даже хотел, чтоб она скорее отшумела и прошла. Он все чаще теперь думал о том дне, когда сможет, наконец, покинуть гиблые стены центра.

В дверь тихо постучали. Шкаров приподнялся и увидел, что дверное оконце открыто и в него, как в тесную рамку, вставлено рябое, усатое лицо.

— Подымайся, чай, мозоли натер, — говорил солдат, смешно двигая большими, не уместающимися в оконце усами. — Царя-то, говорят, больше нет, ядрена бабушка... Лишним, значит, оказался!

Алексей прыгнул с койки, подбежал к двери, но лицо уже исчезло. Он ударил кулаком в дверь. Никто не отозвался. Он постучал еще раз. Та же тишина. И словно в припадке отчаяния, словно боясь тишины, Алексей стал барабанить в дверь изо всех сил.

Оконце так и не открылось.

«Неужели это показалось мне?» — подумал Алексей, чувствуя, как он нехорошо, нервно дрожит. На какое-то мгновение ему сделалось даже страшно. Может быть это — бред?..

Вскоре по коридорам тюрьмы поднялась беготня и суматоха, заговорили стены, — и услышанное подтвердилось. А на второй день было официально объявлено о падении самодержавия, и в тот же вечер, освобожденный, Шкаров сел в поезд, торопясь домой.

Видя, что ему не заснуть, Алексей подошел к вагонному окну. Было уже совсем светло. Далеко на горизонте медленно отделялся от земли край плотно-серого неба, обнажая розовую полосу, точно открывался большой заспанный глаз. Дул ветер, дымилась поземка. Откуда-то поднялась галка и несколько минут летела боком вдоль полотна дороги, не отставая и не обгоняя медленно идущий поезд.

— Ну, кажется, приехали... — сказал кто-то с верхней полки, долго, лениво зевая.

Шкаров оглянулся. Почти над его головой висели здоровенные, растоптанные валенки со следами деревянных гвоздей на подошвах.

— Земляк, нет ли табачку? — спросил Алексей.

— Как не быть... — живо отозвался зевающий. — Сколько тебе: осьмушку или две?

Меж заплатанных колен показалось круглое, измятое сном лицо.

— Да мне только на покурку.

Человек презрительно сказал:

— Я наперстками не продаю!

К ногам Алексея упал плотно набитый мешок, перепоясанный в середине веревкой, за ним—второй, еще большего размера. Алексей перешагнул через них и пошел к выходу, в тамбур.

Не дождавшись, пока остановится поезд, Алексей спрыгнул на платформу. Кругом лежали остроконечные кучи снега, растоптанные снизу. С отлогой крыши вокзала свисали, точно штывки, длинные ледяные сосульки. В пустынном, захламенном вокзале — необычное безлюдье, тишина. На предвокзальной площади — тоже. Это удивило Шкарова. Он предполагал, что родной город встретит его как-то иначе, оживленное, по-новому.

Несколько минут стоял Алексей в раздумьи, как человек, сошедший по ошибке не на той станции, где ему следовало бы сойти. Потом застегнул ватную куртку на все пуговицы, отложил воротник, сунул руки глубоко в карманы и, слегка приподняв плечи, быстро, не оглядываясь, пошел в город, направляясь домой глухими переулками, чтобы сократить путь.

Ветер стихал. Только временами он вымахивал откуда-нибудь из настежь распахнутых ворот, закоулка, обдавал Шкарова сухой пылью снега и снова пропадал. Низкий зеленоватый полог неба начинал редеть, появились бледноглубые разводы, слетка окрашенные лучами еще невидимого солнца.

## 2

На лестницах и в коридоре толпились различно одетые люди. Здесь были и в дорогих бобровых шубах, драповых пальто с каракулевыми воротниками «шалью», здесь же находились рабочие, многие небритые — они пришли прямо с фабрик, с работы. Около выхода на балкон, слева — обширная, без дверей комната. Верхние половины стен и потолок расписаны масляными красками. Над высоким столом, с которого до самого пола спадало мягкими и крупными складками зеленое сукно, — большая ниша. Сейчас она была пуста. В массивной раме портрет, опрокинутый набок и повернутый обратной стороной к входящим, стоял у стены.

Климов подвел Алексея к сидящему возле края стола человеку в круглой меховой шапке.

— Вот он, Шкаров-то. Приехал, — сказал Климов, обращаясь к нему.

Человек встал с мягкого, обитого бархатом стула, быстро смерил Алексея острым взглядом маленьких глаз и, протягивая руку ему, сказал:

— Будем знакомы — Ивлев.

Оглянувшись, он сказал тихо:

— О себе пока можешь не рассказывать. Кое-что я уже знаю, а всякой сволочи тут предостаточно.

— А Климов притащил меня речь держать. Может быть, не надо?

— Почему не надо? Выступи. Скажи, что борьба не закончена, власть находится в руках буржуазии, мы должны продолжать дело революции. Впрочем, ты сам знаешь, о чем говорить.

— Пожалуй не кругло будут слова-то ложиться, — разучился за три года, — сказал Шкаров, улыбаясь одними углами губ.

— Ничего. Красивых слов и без нас много разбросают. Сюда пришли такие соловьи, что не перепоешь. А ты говори по-своему: редко, но метко. Рабочего на пустое-то слово не поймаетшь!..

Ивлев оставил Шкарова сидеть в комнате, а сам пошел на балкон. Посидев несколько минут, Алексей встал и вышел в коридор, заполненный людьми.

С балкона крикнули:

— Щеглянский.

Из угла, прежде незамеченный Шкаровым, выскочил пухленький в пенсне человек, нырнул в приоткрытую дверь и, шевеля правым плечом, стал пробираться к железным перилам. Наблюдая за ним, Алексей видел, как он свесился низко через перила, готовый, кажется, прыгнуть на головы стоящих внизу рабочих, и начал торопливо сыпать звонкие, холодные и малопонятные слова:

— Эмансипация народа... Эра великого содружества...

Покачавшись над людьми и, как пылью, осыпав их подобными словечками, Щеглянский вернулся в коридор, быстрым, почти неуловимым движением руки вытер вспотевший лоб и пенсне, а затем, подойдя к балконной двери, посмотрел сквозь стекло, точно хотел видеть, какое действие произвела на рабочих его речь. Но площадь настороженно молчала.

К Щеглянскому подошел в дорогой бобровой шубе человек, положил на плечо руку и одобрительно сказал:

— Ваша речь, Прокал Семеныч, достойна великой похвалы. Именно: объединение требуется нам сейчас. В этом сила новой России!

Щеглянский чуть улыбнулся, наклонив голову, и отошел опять в угол, в тень.

За ним выступил от фабричных рабочих депутат забастовочного комитета в девятьсот пятом году. Он говорил недолго, спокойно, почти без жестов. Лишь иногда проводил перед собою воображаемую линию и затем ребром ладони быстро рассекал ее надвое. Но это спокойствие заметно нервировало стоявшего рядом со Шкаровым человека в модном расстегнутом пальто, шляпе. У него было чистое, гладкое, с квадратной бородкой, лицо, похожее на маску. Человек этот, оказавшийся племянником фабриканта Титова, сначала нетерпеливо переминался с ноги на ногу, а потом стал торопливо ходить по коридору, бесцеремонно размахивая лапами заграничного пальто.

Остановясь около человека в бобровой шубе, он ядовито спросил:

— Какого чорта и они сюда лезут? Им-то что надо? Не понимаю!..

— Да, на что-то надеются, Евгений Борисович. Нам это следует понять... Вам — тем более.

— Почему? — сказал он и спрятал в плечи голову, странно весь перекосившись, точно обожгли его.

Человек в бобровой шубе закурил, никому не предложив папирос.

— Вы должны все понимать, Евгений Борисович, вы за границей были, культурным воздухом дышали. Щеглянский — мой приказчик, а смотрите-ка острый какой, как иголка: так и шьет, так и шьет словами!

Евгений Борисович махнул рукой, словно зачеркивая все, что сказал его собеседник.

— Вы, Иван Григорьевич, грубый материалист... На все глядите из окон своей фабричной конторы...

С балкона позвали:

— Мятлин.

— Я здесь, — проворно отозвался Евгений Борисович, легко повернулся на каблуках, взмахнув лапами пальто, и скрылся за стеклянной дверью.

Иван Григорьевич проводил его насмешливым взглядом и, обращаясь к только что подошедшему сухому, стриженному в скобку человеку, сказал:

— Кому хочет оставить наследство Титов. Жалко старика... Этот племянничек прочистит глаза его миллионом!

— А для тебя и лучше, — сказал стриженный в скобку, называя Ивана Григорьевича на ты, как близкого или равного человека. — Титов-то, я знаю, беспокойство доставлял тебе.

— Ну, что напраслину говорить. Я не завистливый, не как другие... Видит бог, что — нет.

— Полно тебе сиротой-то прикидываться. Иван Григорьевич, — все знают.

Слушая эту мелкую возню фабрикантов, Алексей чувствовал, как сердце его наполняется ненавистью и обидой. Они лгали и привычно обманывали друг друга даже сейчас, в минуты всеобщей радости трудового народа, собравшегося на площади, который счастлив уже тем, что наконец-то сбросил с себя чугунную тяжесть самодержавия. Теперь Шкарову самому хотелось выйти и рассказать, как ведут себя хозяева фабрик, заботясь лишь об одном — как бы народ не потревожил их.

В коридор вернулся Мятлин. Он весь был развинчен и возбужден. Подойдя к Ивану Григорьевичу и, как офицер, поцелуками, он хвастливо сказал:

— Фурур произвел! Мне бы следовало в Цицероны себя готовить, глаголом жечь сердца людей, а не фабрикой заниматься!..

Шкаров грубовато задел его плечом и, не оглядываясь, направился к балкону. Он протискался к перилам и был поражен видом людей, плотно забивших не только площадь, но и часть выходящих на нее улиц. Сверху площадь была похожа на огромный подсолнух, утыканный спелыми зернами. Над головами людей словно пробежал ветер, подымая шапки. Послышались голоса, нарастая и сливаясь в общий гул.

— Неужели это мне такая встреча? — обращаясь к Ивлеву, смущенно сказал Алексей.

— Как видишь...

— Да меня и не знают.

— Тебя могут не знать, а вот партию, которую ты представляешь, знают. Я уже сказал о тебе...

### 3

Шкаров лишь тогда понял, насколько велико и волнующе было в нем чувство, вызванное предстоящей встречей с женой и сыном, когда на тихой, небольшой улице показался неказистый двухэтажный дом, нижние окна которого были почти наполовину засыпаны снегом. Увлеченный демонстрацией, событиями дня, как бы удовлетворяя свою потребность в людском шуме, Алексей на время затупевал это чувство, но сейчас оно вновь и с еще большей силой вспыхнуло в нем. Пройдя во двор, он осторожно спустился по каменным, обледеневшим ступенькам в подвал и с бьющимся сердцем дернул за ручку двери. Дверь оказалась запертой изнутри. Он постучал костяшками согнутых пальцев трижды: сначала коротко и часто, потом редко и продолжительно и в третий раз опять часто.

— Кто там? — отозвался голос.

Ему показалось, что это был голос Кати, что это она стоит за дверью, почему-то не узнавшая условный его стук.

— Это я, Алексей, — сказал он как-то неестественно, одним горлом, оглушенный биением сердца.

К нему вышла незнакомая, с широким, почти квадратным, лицом женщина. Оглядев его внимательно, она спросила настороженно и, кажется, сердито:

— Кого тебе?..

Шкаров ответил не сразу. Его испугал вопрос женщины. В какую-то долю секунды у него возникло несколько предположений. Наконец он спросил:

— Скажите, Шкаровы здесь живут?

— Проживают, — ответила женщина, словно желая поправить незнакомого человека. — Тебе кого надо?

— Жену... Екатерину Ивановну.

Женщина ахнула и всплеснула руками:

— А ведь я думала чужой какой человек. Ты, значит, муж ее, Алексей?



— Да.

— А я новая тут... Вот и не опознала тебя.

Войдя с Алексеем в комнату, она машинально заперла на крючок дверь и, продолжая разглядывать его, певуче заговорила:

— Катя сей минутой придет. Она пошла к соседке за Витей. Ноне демонстрация была по городу. Страх сколько народу! Не протолкнешься!

Через несколько минут в сенях раздались шаги. Женщина предупредительно открыла дверь. В комнату вбежал шустрый, тепло укутанный мальчик.

— Вот он, сынок-то твой, — сказала женщина. — Такой ли выюн... такой...

Она не договорила. Сильно хлопнув дверью, не обивая с валежок снег, Катя прямо с порога кинулась к мужу. Захлестнув его шею руками, она долго не могла притти в себя, сказать что-нибудь. Алексей отвел ее голову от плеча. Темноглазые глаза были полны слез, но Катя счастливо улыбалась, все еще не находя слов, чтобы сказать. Молчал с радости и Алексей, жадно всматриваясь в похудевшее лицо жены.

Поняв по своему их молчаливые взгляды, квартирантка посоветовала:

— Ну, поцелуйтесь уж, чего стесняться-то меня! Или я уйду...

Катя взглянула на нее блестящими от слез глазами и сказала громко и взволнованно:

— Я не стесняюсь. Видишь! — и снова захлестнув шею мужа, она стала целовать его жадно и горячо.

Когда они разделись, вошли в переднюю комнату, перегороженную тесовой переборкой, оклеенной цветистыми обоями, Катя сказала с легким оттенком укора:

— Что же ты не писал, что приедешь домой?

— Сам не предполагал: отпустили по амнистии.

Жена раздела сына, подвела к Алексею:

— Это, Витя, твой папа... Не узнаешь? А на карточке-то я показывала тебе, — вспомни-ка!

Шкаров подхватил сына, посадил на колени и долго и внимательно разглядывал его, стараясь найти в нем черты самого себя.

— Хорош, хорош, — сказала все еще стоявшая в дверях жидичка. — Вылитый отец.

А Витя глядел на Алексея исподлобья, чуть недоверчиво, словно опасался, что его обманут. На карточке, которую много раз показывали ему, папа — молодой, без усов и бороды. А этот — волосатый. Так разве у него два папы?..

Наблюдая за сыном, Катя, поняв его недоумение, сказала:

— Он побреется и будет похож на карточку.

Алексей громко рассмеялся:

— Во-от оно что, борода мешает... Сейчас я ее сведу.

Он встал, привлек жену и поцеловал в сухие губы:

— За сына... Понимаешь, верно — хорош!

Бреясь, Алексей сказал:

— А ведь я на митинге был, речь говорил с балкона городской управы. Ты разве не узнала меня?

— Как не узнать, из тысячи бы выбрала... Только мы ходили к солдатским казармам, хотели солдат привлечь на митинг. Да смешная история вышла. Подходим, а казармы заперты. Туда-сюда, ищут ключи, а кто-то сообщает: их полковник спрятал и сам скрылся от греха подальше. Солдаты глядят в окна, кричат нам, что они тоже с рабочими хотят быть... А сами заперты и без оружия. Так перед казармами и провели митинг.

— На ермолаевской фабрике хозяин тоже рабочих запер и сбегал. Буржуазия хочет запереть революцию на замок. Да не удастся это, не остановить ее. Коль рабочие двинулись, так их не сдержать, — до конца пойдут, обязательно до конца!

Они сели за стол. Катя разлила в стаканы крепкий малиновый чай и подала несколько ломтиков хлеба и мелко изрезанную селедку без масла. Глядя на мужа через стол, она стеснительно сказала:

— Не обижайся уж, Леня, угостить нечем тебя. Жизнь очень тяжелая стала. — Закусив нижнюю губу, она старалась не выдать своего волнения.

— Эка беда — угостить нечем! — весело отозвался Алексей. — Нет, ну и не надо. Не привыкать!.. Будем живы — тогда все будет!

Немного вспотевший, Алексей откинулся на спинку стула. Дремалось. Где-то внутри, под ложечкой, посасывало, хотелось курить. Но табака не было.

— Ты спать хочешь, — сказала Катя, — ложись.

Алексей очнулся от легкого ползузабытья.

— Нет, я посижу. Вот покурить бы сейчас...

Он свернул папиросу и пустую сунул в рот.

— Подожди, — вспомнила Катя. Она пошла на кухню и вернулась, подав ему круглую жестяную баночку. — Кажется, с табаком.

Это была его старая табакерка, заведенная еще в то время, когда он был шарнем, только начинал курить. Алексей тепло и благодарно взглянул на жену. Его поразила проникновенная забота о нем, любовь Кати ко всему, что связано с ним.

— Где ты ее нашла?

— Ты на столе ее забыл, когда тебя арестовали. Я вот и схоронила на память. Думаю, может пригодится...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

В проходной будке Шкарова остановил невысокого роста, грузный, похожий на кувалду сторож. Он был в огромном кудлатом треухе, который закрывал ему лицо до самых бровей. Длинная, колечками, борода казалась как бы продолжением его шапки.

Сторож протянул навстречу Алексею ладонь с растопыренными пальцами и вопросительно сказал:

— Куда?.. Игде пропуск?

Шкаров посмотрел на его плоское, покрытое бородавками лицо, вздернутый нос.

— А я без пропуска, — проговорил он располагающим тоном.

— Солдат, видно?

— Почему? — спросил Шкаров с легкой усмешкой, глядя на просторные ноздри сторожева носа, напоминающие дула охотничьего ружья. — Почему ты думаешь, что я — солдат?

— Да уж больно много теперь их шляется, — мягче заговорил сторож. — Каждый день... Отбою нету.

— Работы, что ли, ищут?

— Неужто гуляют?... Зубы-то привыкли жевать, не остановишь. Только уж больно много солдатиков-то, словно война растолкла их: раза в три больше понаехало!

— Беглые? — спросил Шкаров, очень внимательно прислушиваясь к тому, что говорил ему сторож.

— Кто это?

— Солдаты-то...

— Ну, какие там беглые! Ненужными оказались... Кто без руки, а кто — на костылях! Бракованные все, порченые!..

— Знать, на войне-то не вольготно?

Плечистый, грузный человек слегка подался назад, будто избегая прямого удара, настороженно посмотрел на Шкарова припухшими глазами, сухо и неохотно ответил:

— Этого уж я не знаю. Спроси у них... у солдатиков.

Со двора в проходную будку вошла молодая женщина, одетая в легкое пальтецо: оно было сшито из черного драпа с таким обилием толстых двойных швов, что казалось собранным из отдельных кусков. Голову и плечи прикрывала шаль с длинной бахромой по краям.

Не глядя на Шкарова, сторонясь его, женщина торопливо направилась к двери, ведущей на улицу.

Сторож, увлеченный разговором, сначала не заметил ее, пропустил мимо себя и увидел только тогда, когда женщина была готова открыть тяжелую дверь, которая сама закрывалась от привешенной к веревке пудовой гири.

— Эй, тетка! — внушительно закричал сторож, кидаясь, однако, не к женщине, а к гире, повиснув на ней, чтобы женщина совсем не могла открыть и без того почти непосильную для нее дверь. — Остановись-ка! Прятка больно... Дай-кось я тебя легонечко потрепаю.

Свинцовые ладони его проворно забегали под растегнутым пальто. Женщина стояла молчаливая и покорная, стыдливо опустив глаза. Только раз она посмотрела на Алексея, точно спросила взглядом:

— Когда это кончится?

Обыскав женщину, сторож вернулся к Алексею и, сопя развороченными ноздрями, спросил:

— Хороша плотница?

— Разве еще обыскиваете? — спросил Шкаров.

Он едва сдерживал в себе возмущение, вызванное постыдным ощупыванием женщины.

— Как же, — спокойно отвечал сторож, — хозяин у нас очень строгий!.. — Но как бы спохватившись, — не сказал ли чего-нибудь лишнего перед незнакомым человеком, — бородач поспешно сказал:

— Наш хозяин обстоятельный, баловников не любит.

— Я его знаю... — сказал Алексей таким тоном, что нельзя было сразу определить — порицает ли он хозяина фабрики или только сказал это для того, чтобы отметить факт своего знакомства с ним.

— Вот как! Ты знаешь его?

— Еще бы: очень хорошо... Я к нему иду.

Сторож окончательно обмяк, он даже стал подвижнее, словно приобрел несвойственную ему легкость. Сейчас нельзя уже было сказать, что он похож на кувалду. В нем было что-то подменено, его словно завели на ключ, пустили, как большую громоздкую машину, которая может выделывать то, что нелегко сделать мелкими инструментами.

— Что же вы мне сразу-то не сказали об этом? — вопросительно поглядел он Алексею в глаза. — Может быть, я что лишнего сказал... Вы уж извините меня... По доброте своей. Мне только солдатом не велено пущать. Крикуны они, дескать, большие, солдаты-то. А вы коль к самому хозяину — так проходите.

Шкаров, удивленный таким неожиданным оборотом разговора, толкнул дверь и прошел во двор фабрики. Тут все было попрежнему, ничего не изменилось. Вот здесь, около помещения конторы, он говорил свою последнюю речь. Вспомнилось, как у раздраженного полицеймейстера упал картуз и покатился под ноги бастующих рабочих. Один из казаков спешился и кинулся за ним. Но когда он достал его и подал полицеймейстеру, картуз весь был измят, в пыли.

Кто-то сказал тогда:

— Хорошо начали — с головы!..

Осмотревшись, Алексей прежде всего пошел в ткацкий корпус, тесный, с небольшими прямоугольными окнами, разделенными частыми переплетами рам на мелкие квадратики.

На стеклянной двери кабинета заведующего висела медная дощечка. На ней было выправировано: Миловидов Константин Абакумович. Алексей постучался. Из комнаты отозвался голос. Не расслышав, Алексей принял его как разрешение войти.

— Я же сказал, что пью чай! — сердито проговорил Миловидов, когда Шкаров закрыл за собой дверь. Но взглядевшись в него, спросил:

— Подожди, я тебя, кажется, знаю.

— Не диво, пятнадцать лет проработал здесь ткачом. Моя фамилия — Шкаров.

— Ах, да — вспомнил. Ты — что, зачем пришел-то?

— Хотел бы на работу поступить, Константин Абакумович.

Миловидов прикрыл глаза и лениво покачал головой, обросшей сероватыми, словно запыленными волосами, сквозь которые просвечивала белая кожа черепа.

— Где уж теперь, — сказал подчеркнуто заведующий. — Не знаем, что делать с теми-то, которые числятся на фабрике..

На улице неожиданно и преждевременно потемнело. Пошел крупный снег. Алексей глядел, как он плавно, легко падал между окном и высокой кирпичной стеной, и ему вспомнились слова сторожа про солдат:

— ...Больно много, словно война растолкла их.

Шкаров и сам уже знал, что по городу бродит много непристроенных людей. В течение двух с половиной лет угоняемых на войну рабочих заменяли женщинами, приходящими из ближних и далеких деревень. Возвратясь домой, солдаты оказывались ненужными, их не принимали на фабрики. Если же и ставили на прежние места, где они работали до войны, то увольняли принятых вместо них женщин.

Подумав об этом, Шкаров не стал настаивать на приеме и решил попытаться найти работу где-нибудь в другом месте. Но простясь, он пошел не к главному выходу, а через ткацкую. На площадке второго этажа Алексей распахнул дверь, и его обдало знакомым шумом работы станков. Он прошел в свой комплект, к станкам, на которых проработал полтора десятка лет, и вдруг почувствовал сильное желание, засучив рукава, привычно встать за них и следить за коротким полетом челнока, следить, чтобы текло безостановочно слегка желтоватое, еще необработанное полотно. Шкаров любил класть на батаи руку свою, как бы помогая ему прибывать на полотне оставленную челноком нитку.

Теперь на его станках работала молоденькая женщина с курносым и некрасивым лицом, освещенным, однако, приятным светом кругленьких черных глаз. Поймав на себе недоуменный взгляд ее, Шкаров спросил:

— Ну, как работаешь?

— А ты кто, чтоб тебе отвечать?.. — сказала она, словно швырнула в Алексея камнем.

Это удивило его, и он рассмеялся:

— Ах, ты — бритва! Что же ты ругаешься-то?

— И так работать тошно, а ты — с расспросами... Все руки за день-то юбобьешь! — Но, подумав, спросила: — А ты кто: может, новый мастер?

— Нет... Я когда-то сам работал на этих станках. Зашел посмотреть.

— Вон оно что, посмотреть... — и лишь сейчас улыбнулась небольшим, резко очерченным ртом.

— А ты как же, — сказал Шкаров нарочито серьезным тоном, — не знаешь, кто я, а — кричишь? А если мастер?..

— Да мне все едино: хоть чорт Иваныч. Не боюсь!

Шкаров рассмеялся еще раз, собирая на щеках волнообразно упругую кожу, простился с женщиной за руку и пошел из корпуса. Оглянувшись у двери, он увидел, что женщина продолжает следить за ним. Он махнул ей рукой, она ответила тем же.

Алексей стоял посреди обширного двора фабрики, думая, куда ему теперь следует направиться. Редкий мокрый снег продолжал падать, и Алексей казался опутанным белой сетью. Вспомнив о Голубеве, он пошел в слесарный отдел. Там было темно, тесно. По углам, возле самого потолка, висели большие лохмотья паутины, похожие на сумеречные тени. Около станков, под ногами, — навалены кучи железного рыжего лома, стружек, опилок. Шумно хлопала приводные ремни, что-то скрипело, взвизгивало. Почти на всех станках рабочие точили стаканы трехдюймовых снарядов.

Ко всему приглядываясь и невольно отмечая в памяти своей, Алексей подошел к Захару и показал глазами в сторону:

— Стараются?..

— Процентовики, — тихо сказал Голубев. — Не захочешь — пошлют на войну.

Рядом с Голубевым работал Ефим Носков, одетый в длинную молескиновую блузу, которая застегивалась наглухо до самого горла. В глубоких карманах лежало что-то тяжелое, видимо — инструмент.

— Здравствуй, Ефим, — сказал Шкаров, протягивая руку. Носков смущенно показал ему свои грязные ладони, желая дать понять этим, что он здороваться не может, боится испачкать Алексея. Молодой слесарь был еще в том славном возрасте, когда юноша среди сверстников кажется себе мудрецом, а среди взрослых — чувствует растерянность.

— Он у нас жених, — шутливо сказал Голубев, глядя прищуркой сбоку на Ефима.

Носков покраснел, протянул Шкарову руку и, нагнувшись над тисками, стал водить сосредоточенно пилой по металлу, раскачивая верстак.

— На работу, что ли, вышел? — спросил Голубев Алексея.

— Приходил наниматься, — не взяли. Миловидов отказал. Говорит, места нет.

— Врет, собачья морда. Он тебя боится. Понимаешь? Чай, узнал...

— Как же. Давал рекомендацию на другую фабрику.

— Ну, ясное дело. Спокойнее будет... без тебя-то. Шельма этот Миловидов, хитрец!

— Ладно, поищу работу на стороне.

Шкаров сказал и только сейчас понял значение своих слов: он хотел узнать, как отнесется Голубев к этому.

— Тебе уходить нельзя, никак нельзя. Ты здесь вырос, у тебя глубокие корни здесь пушены.

— Да, — согласился Алексей, хорошо понимая сам, что здесь, на фабрике, все ему знакомо, близко, все обжито, как дома. — Да, уходить не резон. Ты, Захар Ильич, прав... Но как это можно сделать?

— Видимо, придется хозяина потрясти.

— Ты думаешь — сдастся?

— Попробуем!

Домой Алексей вернулся еще засветло, на улице только начинало смеркаться, но в его подвальной квартире было совсем темно. Катя сидела у раскрытой лежанки, держа на коленях сына, и наблюдала, как огонь с треском обгладывал сосновые поленья. Жена сидела к дверце боком, и правая сторона ее лица была окрашена пламенем в ярко-багровый цвет, а левая казалась в темноте комнаты совсем невидимой, только в зрачке глаза дрожала едва заметная искра отраженного огня.

Шкаров разделся, присел на корточки, выставив к огню руки. Витя улыбнулся и, почти не открывая глаз, молчаливо потянулся к отцу.

— Я тебя разбудил? — сказал Алексей, принимая на руки теплое, размякшего сына.

— Нет. Я не спал, — зевая и потягиваясь, ответил Витя.

— А глаза были закрыты.

— Ну-к, что ж: это я в себя гляделся.

Катя отодвинулась немного в сторону, давая возможность Алексею ближе и удобнее сесть к огню. Спросила:

— Устроился ли?

— С боем приняли. Таскальщиком утка... Захар целую атаку развернул!

— У нас тоже беспокойно, рабочие требуют прибавки. Наверно забастуем: все дорожает, ничего достать нельзя, а дачки — прежние. Святым духом, что ли, питаться-то?

Алексей слушал рассказ жены и удивленно думал о том, как само время, сама жизнь оттачивает сознание человека. Прежде он никогда не слышал, чтобы Катя так просто, естественно и в то же время глубоко и ясно судила о сложных понятиях действительности — о классовой борьбе.

Катя встала, зажгла лампу, начала собирать запоздалый обед. В комнате запахло рыбными щами. Запах напомнил Алексею, что он очень голоден. Алексей поднялся и пошел к столу, не дожидаясь, пока позовет его жена.

## 2

Просторный разборно-паковочный отдел, занимающий почти весь нижний этаж отделочного корпуса, оказался тесным сейчас, когда

собрались рабочие всех отделов смены. Люди стояли вдоль стен, сидели на подоконниках, столах, многие прямо на полу, возле того места, где должен быть президиум. Несколько поодаль от стола президиума, у стены, сидел на специально принесенном жестком гнущем кресле молодой, пока еще неофициальный, хозяин фабрики Мятлин, единственный наследник Титова. Он был одет в черное демисезонное пальто и шляпу с жесткими, загнутыми вверх, полями. Будущий хозяин сидел отчужденно, словно заранее соглашаясь с тем, что рабочие, собравшиеся здесь, враждебные ему люди, неприязненно смотрящие на него со всех сторон. Тоже на стуле, но в стороне от Мятлина, сидел заведующий ткацкой Миловидов. Около них стояли служивые люди средней руки. Мелкие, низкооплачиваемые служащие затерялись в плотной массе рабочих, хотя и старались держаться, подражая своим высоким начальникам, отменно, с достоинством.

После многих минут шума, беспорядочных выкриков, перебранки председателем собрания был избран Захар Голубев, секретарем — служащий товарной палатки Арбузов, член партии эсеров. Но и тогда, когда уже провели окончательное голосование, Миловидов крикнул, будто выстрелил из пугача:

— Собрание должен вести человек, понимающий законы!

Едва заметно улыбаясь в усы и поглядывая прищуренными глазами на всех присутствующих, Голубев терпеливо ожидал тишины. Когда все успокоилось, уравновесилось на время, Захар, не стерпев, чтоб не ответить на слова Миловидова, сказал подчеркнуто:

— Может быть я и не понимаю законов, да и человек-то я в самом деле не ахтительский, — у него под усами опять появилась улыбка, — я всего только слесарь, политехнический институт не окончал, но коль мне рабочие, — вы, товарищи, — показал он рукой, — коль вы доверили мне провести выборы фабричного комитета, я должен их провести... с вашей помощью, — подчеркнул он. — Кого нам следует выбирать, я думаю — вы сами знаете. Кто вам хорошо известен, кому вы доверяете, кто хлопчет о вас, борется за общие интересы всех рабочих, — того, по-моему, и следует избрать в комитет. Если я правильно сказал, прошу назначать кандидатов... А господина Арбузова попросим записать их.

Когда был составлен список, он оказался настолько длинным, что его хватило бы на десяток фабричных комитетов. Нужно было умело, осторожно отвести всех случайных из списка, детально обсудить оставшихся, чтобы каждый человек стал ясным и определенным со всех сторон. И Захар Голубев, не кончавший институт, но прошедший мудрую школу жизни, воспитанный партией великого Ленина, усвоивший из нелегальных книг то, чего нельзя приобрести ни в одном учебном заведении, — вел собрание умело, словно хороший капитан вел пароход по узкому, извилистому руслу реки.

Кто-то даже не сдержался, сказал, чтоб услышали все:

— Ловко отмеривает, бестия. Вот так Захар!..



Когда очередь голосования дошла до Алексея Шкарова, будущий хозяин фабрики, не вставая с кресла и не прося разрешения, сказал:

— Господин председатель собрания в данном пункте нарушает порядок выборов. Им было доложено, что в комитет надо выбирать хорошо известных людей, которые сумеют защищать общие интересы. А теперь сам поддерживает кандидатуру, выставленную демократами-большевиками, а не всеми фабричными. Я, может быть, весьма уважаю господина Шкарова...

Иван Логинов, сидевший во втором ряду, отвел в стороны головы сидящих перед ним людей и громко крикнул:

— Мы не господа, мы — рабочие!

— Верно, — поддержали его.

А женский голос посоветовал Мятлину:

— Хоть встал бы, что ли... Что в самом деле строить из себя хозяина-то. Чай, перед народом можно было бы и постоять!

— Да, я весьма уважаю... Шкарова, — уже возбужденно продолжал Мятлин, словно не расслышал обращенных к нему замечаний. — Но как можно выбирать его, если он временно работает на фабрике. Сегодня он здесь, а завтра — нет его. Разве у нас мало других людей? Слава богу, фабрика наша большая!

— Товарищ председатель, — вдруг раздался голос Утенкина, — можно ли мне сказать свое соображение?

Маленький, лысый, он поднялся откуда-то, встал на подоконник.

— Пожалуйста, — сказал Голубев.

— Только реже говори, — предупредили его, — не сыпь горохом-то, не на мельнице.

— Я так полагаю, — заговорил он редко, непривычно, — обращаясь к Мятлину, — что и вам еще рановато бы говорить. Да. Пока вы никто для нас. Не хозяин пока... Нет. А племянников-то много найдется, был бы капитал. Так уж не указуйте нам, что надобно делать. Сами разберемся. Пропускай Шкарова, чего там... Все знаем его. Подымай руки!

Выжидательно-молчаливо сидевший Арбузов, наблюдая и поглядывая то на рабочих, то на хозяина, вдруг вскочил и запальчиво крикнул:

— Ты что подбиваешь людей? Какое ты имеешь право? Голосование будет тайное!..

— Это все равно какое, — опять зачастил Утенкин, — тайное или явное. Нам бы только своего человека выбрать! А Шкарова мы знаем... все знаем!..

— Но он же временно у нас работает, — сказал Миловидов, приподымаясь.

— Когда его принимали, никто об этом не говорил, — вмешался Голубев.

— Так подразумевалось, — сказал Мятлин.

— Ну, то, что было у вас под разумом, это, конечно, нам не-

известно. Да это и не главное: все мы работаем временно. Сегодня фабрика идет, а завтра может встать.

— Агитации здесь не место, — резко выкрикнул молодой хозяин, размахивая шляпой.

— Выборы без агитации не бывают, — спокойно возразил Голубев. — И вы сами агитируете, отводя кандидатуру Алексея Шкарова.

Собрание затянулось на много часов. То, что представлялось простым, оказалось весьма сложным и нелегким. Причем, когда стало очевидным, что большинство остающихся в списке кандидатов — рабочие, многие из которых открыто заявляли себя сторонниками социал-демократов большевиков, — служащие конторы, мастеровые, административные лица подняли невообразимый скандал. Они требовали, чтобы членов комитета было от рабочих и служащих по равному количеству, в противном случае они совсем выйдут из комитета. Рабочие не соглашались, отвечали на их требования свистом, а иногда и случайно сорвавшимся круглым словечком. Дело дошло до прямых угроз. Наконец, все уже начали уставать, и все чаще начали раздаваться требования:

— Довольно с ними рацей разводиться!.. Приступай к баллотировке!

Был ранний безветренный вечер, когда Алексей вместе с другими покинул складальный отдел. У него было какое-то двойственное, неуравновешенное состояние. Он был чем-то возбужден, и в то же время сознание боролось против этого возбуждения, подсказывало, что для этого нет никаких особых причин. Присутствуя на выборах, он впервые за три года вновь увидел так близко своих фабричных, отметил, к своему удивлению, что его помнят, его не забыли, больше того — ему доверили быть председателем комитета. Он понимал, что это значит. Может быть, это и взволновало его?..

Прощаясь, Захар Голубев сказал ему:

— Радуюсь, брат, за тебя... Только вот секретаря-то подсунули тебе подленького... Арбузова.

— Да, секретарь вонючий. Но что делать!..

Выйдя на улицу, Алексей встретил дядю своего, Егора Кулагина, который будто нарочно поджидал его, прохаживаясь около проходной будки. Егор ходил уже теперь в чине мастерового, был одет в драповое пальто, ботинки с резиновыми галошами. И стригся не в скобку, а под польку, «по-благородному». Заметив его, Шкаров на секунду заколебался: поздороваться с ним или пройти мимо?

— Алексей! — услышал он голос.

Шкаров невольно остановился, оглянулся.

— Не узнал, что ли? — спросил Кулагин. — Похудел ты... Давно ли приехал?

— Недавно, — ответил неохотно племянник, не подав ему руку.

Однако Егор не смутился. Улыбаясь одними сизыми, точно изрезанными губами, он заискивающе говорил:

— Теперь, значит, начальником будешь? Это — справедливо, Алексей Матвееч. Достоин... Как же — в тюрьме был, томился. Вроде мученика. Я первый опустил за тебя голос. И других подговаривал...

Это неожиданное признание напомнило Алексею о толстой домохозяйке, Акулине Пяткиной, которая тоже неизвестно для чего стала признаваться ему в своем сочувствии, не узнав даже, интересуется это его или нет.

Шкаров подождал терпеливо, пока не отговорится дядя, а затем напомнил с упреком:

— А вот подбивать-то и нельзя на голосование. И самому не следует рассказывать, за кого подавал голос. Тайные выборы-то!..

Кулагин согнал с губ нарочитую, холодную улыбку.

— Это я по-родственному только признался. Другому-то разве проболтаюсь? Да что я...

— Все равно не следует, — повторил Шкаров, пытаясь уйти от Егора.

Но Кулагин преграждал ему дорогу, ловил борт куртки и все настойчивее спрашивал:

— Жена-то, Катя, здорова? Я слышал: у тебя сыночек растет?..

Алексею надоело слушать торопливые, бессвязные вопросы Егора. Он отвел его в сторону рукой и, не оглядываясь, сказал:

— Прощай.

— Я найду к тебе вечером, — услышал он.

— Меня дома не будет!

Не выдержав, Алексей оглянулся и увидал, что Егор стоял на прежнем месте и смотрел ему вслед. Лицо у него было искаженное странной гримасой: нето он смеялся, нето плакал, оттягивая книзу углы губ.

Вошла, предварительно стукнув в дверь, какая-то женщина, одетая в длинное, узкое ватное пальто, обутая в легкие валенки. Когда она сняла с головы тяжелую с бахромой шаль, Алексей смутно вспомнил, что он где-то видел эту женщину. После некоторых усилий память подсказала ему: однажды, несколько лет назад, он зашел к Баландину; посреди комнаты стояла невысокая, худощавая женщина и расчесывала обильные светлые волосы; отбросив их, как покрывало, двумя руками назад, она сказала, что Федора нет дома, он у родственников в гостях; не назвав себя, Алексей ушел, а на другой день узнал, что Баландин был на партийном собрании; позже Алексей тоже встречал эту женщину, но в памяти как-то не уложился образ подвижного лица с маленьким прямым носом.

— Алексей Шкаров здесь живет? — спросила женщина после минутного молчания, во время которого она успела рассмотреть все, что находилось в комнате.

Алексей встал с кровати и, оправляясь, подошел к ней.

— Это — я, Шкаров, а вы — Баландина?

Женщина откинула назад голову с грузным, спустившимся под затылок, пучком, улыбнулась, не изменяя линию рта, и сказала певуче:

— Так вы знаете меня?.. Памятливый, должно быть, вы! Муж прислал сказать... он вернулся домой. Просил зайти.

— Когда?

— Если можно — сейчас.

Одеваясь торопливо, едва попадая в рукава куртки, Шкаров думал вслух:

— Федор приехал, вернулся... Вот хорошо, — и нетерпеливо спрашивал у Баландиной: — Постарел или ничего? Ведь он такой, неподатливый... А?

Когда Алексей оделся и женщина накинула на голову шаль, готовясь выйти из комнаты, Катя остановила ее:

— А вы, может, посидели бы у нас? Леня и один дойдет.

— Нет-нет, я в другой раз как-нибудь, — ответила Баландина и очень проворно, так что Алексей даже не успел заметить, поцеловала Катю и вышла.

Дорогой Шкаров несколько раз пытался хоть что-нибудь узнать о Федоре, но все было напрасно: Баландина ни о чем ему не рассказывала. И это навело Алексея на мрачное предположение, что с Федором что-то случилось неладное, серьезное. Он стал представлять себе, что бы могло с ним случиться, но все предположения мысленно сейчас же зачеркивал; ему хотелось все-таки надеяться, что с Федором ничего не случилось и жена его молчит или по старой конспиративной привычке, или хочет чем-то обрадовать его.

Отбросив сомнения, Алексей шумно вошел к Баландину, занимавшему заднюю половину дома, окна которого выходили на двор, в небольшой садик, где Федор обычно проводил свои летние часы досуга, внимательно ухаживая за деревьями, оберегая плоды, хотя сам их никогда не ел, — сад принадлежал хозяину дома.

Алексей разделся и, не входя еще в комнату, крикнул:

— Вернулся, Федор?..

Шкаров отвел в стороны ситцевые шторы и остановился, пораженный увиденным. В кровати, покрытый одеялом до пояса, полулежал худой, почти неузнаваемый Федор. Глаза его, сейчас казавшиеся расставленными несколько дальше обычного, глубоко провалились. Нос обтянулся, раздвоился на кончике. Скулы выдались, кожа губ натянулась. Все это напомнило Алексею образ его отца, умершего от чахотки.

— Не узнаешь, что ли? — сказал вопросительно Баландин и слегка улыбнулся, подчеркнув этим свою худобу.

Пересилив себя, Шкаров подошел к постели и, стараясь сохранить в голосе спокойствие, громко сказал:

— Как тебя не узнать? Что ты, Федор!

Алексей пожал ему легкую, потную руку и присел рядом на стул. Баландин огляделся — нет ли поблизости жены.

— Плох я, — а?

За три года, в течение которых они не виделись, Федор страшно изменился. В волосах и разбежавшейся по всему лицу бороде время и болезнь посеяли множество сединок, будто изморозь легла на потемневшую осеннюю траву.

Шкаров сказал ему об этом.

— Ничего, Алеша, — с удивительным спокойствием ответил Баландин. — Какая-то пословица говорит, что седой волос приходит навечно!

Алексей вдруг почувствовал себя вновь хорошо подле этого умного, уже седого и больного старика, так же хорошо и надежно, как он чувствовал себя около него раньше. Ведь это он, Федор Баландин, выпестовал его, вывел на прямую, широкую дорогу жизни...

Баландин потянулся, зевнул и стал подниматься. Алексей положил ему на плечи ладони, стараясь остановить его, и повелительным шопотом сказал:

— Лежать, лежать... надо!

Но Федор все-таки сел, пригладил и без того плотно лежащие на голове волосы, удивленно спросил:

— Что ты смотришь так на меня? Чай, уж я не совсем прилип к постели.

— Ты как же это не уберется-то? — сказал наконец Шкаров то, что хотел сказать в первую же минуту своего прихода.

— Очень просто, дорогой Алеша. Не вытерпел, сбежал однажды ночью, да ошибся: в польню попал. А время-то зимнее: мороз, ветер... Едва бежал, обмерз весь, олубенел. Только бы, думаю, добраться до деревни, там — отогреться. И — не добежал, нелегкая. Догнали. Так и вели мокрого, да еще, мерзавцы, били. Говорят: для сугреву. А, вот подлецы!

Вошла жена, принесла стакан горячего чая, разбавленного молоком, и кусок домашнего белого хлеба.

— Ты бы не говорил много-то, — заметила она. — Профессор-то что сказал?..

Шкаров догадался, что сказанное относилось к нему. Он встал:

— Я, пожалуй, пойду, Федор.

— Никуда ты не пойдешь. Ведь я могу и осерчать. Вот что!.. Сиди и разговаривай. Садись, садись... Ты еще о себе ничего не рассказал. Поди, тоже не сладко было. А?..

Шкаров только что начал рассказывать о своих тюремных годах, как его окликнула Баландина:

— Вы чая не хотите?

— Нет, спасибо...

— У меня закуска есть — астраханские селедки, два часа стояла в очереди за ними. Хорошие селедки!

— Замери червячка, — посоветовал Федор. — Все равно я тебя никуда не пушу.

Алексей отказался.

— Экой гость неприветливый. Тогда хоть поставьте самовар на стол, — попросила Баландина.

— Самовар поднять можно, — с готовностью согласился Шкаров.

Когда он вышел на кухню, женщина тоном старшей укоризненно сказала:

— А вы, кажется, еще не очень догадливы... Оставьте самовар. Я хотела сказать вам, чтобы вы ушли. На сегодня достаточно. Вы меня извините, но... ему надо все-таки отдохнуть. С дороги... Я, признаться, не хотела и к вам-то идти. Да разве совладаешь с ним?

Алексей неловко улыбнулся, кивнув головой.

Но, вернувшись в комнату, не сдержался и сказал:

— Мы на днях организуем общефабричный митинг... В казарме. Будет выступать Климов, из горкома.

У Баландина заблестели глаза.

— Я пойду, — решительно сказал он. — Я должен пойти. Непременно пойду!

Баландин говорил так подчеркнуто, как бы уже заранее предполагал, что Алексей будет возражать.

— Ты никуда, Федор, не пойдешь! — сказал категорически Шкаров.

— Так уж и никуда?

— Да... Тебе нельзя. Понимаешь? Ты — больной.

— А если мне наплевать, что я — больной? А? Представь себе... Что ты на это скажешь?

— Я тебе ничего не скажу, но я тебя просто не пушу. Я в горком заявлю, если ты пойдешь на собрание. Раз нельзя тебе ходить, запрещено, — значит — нельзя!

Баландин понял, что со Шкаровым ничего не поделаешь, его не уговоришь, не сломишь, коль он что решил твердо.

— У кого это научился ты упрямству-то? — спросил, улыбнувшись, Федор.

— Твоя школа... — в тон ему, не задумываясь, ответил Алексей. — У тебя научился!

Они рассмеялись оба: Федор тихо, почти неслышно, сквозь кашель, Алексей — громко, раскатисто, как умел он смеяться среди самых близких товарищей.

Придя в комнату, отведенную для фабричного комитета, Шкаров не знал, за что приняться, с чего следует начинать почти совсем неизвестную ему работу. Жалоб никаких не поступало от рабочих, решений комитет еще не успел написать, следовательно, нечего

было выполнять. Алексей стоял перед окном и, глядя, как на солнце пекло, возле красной стены, солнце жадно обсыпало темный снег, решал: не пройтись ли по отделам — поговорить с рабочими, узнать, нет ли у них каких претензий, недовольств на хозяина, директора, мастеров. Особенно ему хотелось поговорить с новыми рабочими, недавно поступившими на фабрику, познакомиться с ними...

В комнату вошла женщина, по виду ткачиха. Она огляделась и довольно спокойно спросила:

— Тут находится... как его... комитет?

— Здесь, — обрадованно ответил Шкаров и подошел к ней. — Я — председатель...

Неожиданно осмелев, встав перед ним в воинственную позу, женщина закричала, шевеля жиденькими бровями:

— Что же это вы делаете? Обманом занимаетесь? Семейных женщин увольняете, а своих лоботрясов принимаете на работу! — Она развязала выптветший от времени половной платок, сдвинула его на плечи и, наступая на Шкарова, закричала еще яростнее:

— Что я теперь буду делать? Чем я заткну детям рты?.. У меня их четверо!.. А вы... так бы вот... — и женщина вне себя, отуманенная злобой и отчаянием, кинулась на Алексея.

Шкаров не отступил, даже не сдвинулся с места. Он сдержанно, внешне спокойно глядел на женщину, следил за ее нервным движением рук, выжидая, пока она успокоится.

Обессилев от собственного крика, женщина опустилась на стул и заплакала, вытирая глаза концами платка.

— Расскажи толком: в чем дело? — сказал Алексей.

Женщина сложила руки, пристально посмотрела Алексею в лицо. Она, кажется, была удивлена его спокойствием и тем, что вместо того, чтобы тоже закричать на нее, как это делает все фабричное начальство, заговорил с ней мягко, необидчиво.

— Ну, расскажи, что случилось-то.

— А вот что вышло, — стала рассказывать она. — Прихожу я на работу, а мне мастер и говорит: «Занято место. Ты уволена». Я — к управляющему: как так? «Очень, — говорит, — просто: комитет поставил своего человека. Я, — говорит, — ничего не могу сделать. Ты сама выбирала, — ну и спрашивай с комитета». Да еще смеется, леший: «Поплачь, — говорит, — может комитет и примет на работу. Только они с тобой и разговаривать не будут. Нужна ты им!» Такое меня зло взяло. Ну, подождите, думаю, продеру зенки. — И совсем уже мягко сказала: — Я ведь пришла драться с вами!

— Так и надо, правильно... если б это случилось. Но мастер и управляющий обманули тебя. Никакого человека мы не устраивали на работу, да мы и не имеем права на это. Фабрика-то хозяйская, он распоряжается.

— А что же мне делать?.. У меня дети.

— Я сейчас пойду выясню.

Не постучав, Шкаров вошел в кабинет управляющего ткацкой фабрикой. Миловидов лежал на диване, подняв кверху ноги, подпирая ими стену, и курил папиросу. Заметив вошедшего Алексея, он сел и, выпуская вместе с дымом слова, сказал:

— Полагается стучать, когда входите в кабинет.

— Извиняюсь... Я хочу знать: почему уволена ткачиха Васюткина?

— Не припомню что-то, — тритворно сказал Миловидов. — Когда это было?

— Сегодня... только что. Она у вас была, вы с ней говорили, — как же вы могли забыть?

— А вы не кричите, — да. Я не позволю никому кричать. У меня их около тысячи Васюткиных... так я и буду помнить о каждой? Не знаю, может быть и говорил с ней... Только не я писал распоряжение, а — хозяин. А я подчиняюсь ему. Идите к нему, покричите, он вам...

— Что? — строго спросил Шкаров.

— Сходите, увидите...

— Это — угроза?

— Зачем же... нет-нет, — поспешил отступить управляющий. Шкаров пошел к хозяину. Рассказав ему об увольнении ткачихи, он спросил:

— Вы давали такое распоряжение?

— Кажется, я — узнаю. Впрочем, управляющий сам распорядился. Ты с ним поговори... Мне сейчас некогда.

— Нет. Я к Миловидову не пойду, а соберу лучше рабочих и с ними поговорю об этом. Пусть они сами решат, что сделать надо, потому что управляющий ссылается на вас, а вы — на управляющего. Что вы как мячом играете человеком-то?

Шкаров повернулся и хотел идти.

— Подожди, — окликнул его хозяин. — Я напишу, чтобы ее приняли. Какое-то недоразумение вышло...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Фабричные спальни рабочих — это длинное, мрачное двухэтажное здание, похожее на букву П и выходящее своими крыльями на улицу, которые смыкались высокой стеной с железными воротами. Весь день ворота были открыты настежь, но зато в десять часов вечера, после прихода рабочих с фабрики, они закрывались наглухо до утра. Около ворот сидел сторож, блюститель порядков, следивший за тем, чтобы рабочие не загуливались после работы. Даже то малое свободное время, которое оставалось у людей, они должны были проводить в тесной коробке двора, где воздух был отравлен испражнениями и отбросами. Все это больше напоминало пересыльную тюрьму, а не жилище для рабочих фабрики, руками которых создаются несметные богатства.



Внутренний вид спален был еще непригляднее. Только во втором этаже, да и то не всюду, стояли деревянные топчаны, сдвинутые настолько плотно, что между ними оставлен совсем небольшой проход, в котором два человека едва могли разойтись. Внизу же, в первом этаже, устроены двойные нары, как в поезде. Можно было подумать, что люди здесь находятся временно, до какой-то остановки. Но время проходило, живущие в этих спальнях старели, умирали, на их места приходили другие, а теснота и грязь хозяйских спален оставалась. И никто не знал, когда будет конец этой подлой, омерзительной жизни.

Шкаров ходил по длинным, изломанным коридорам спален и думал о том, что надо ломать, перестраивать скорее спальни. Живя в подвале, он хорошо знал, как облагораживает человека хотя бы немного благоустроенное жилище. Но как Алексей ни думал, мысль невольно сама собой возвращалась к хозяину фабрики. Все это пока его, и чтобы переделать, перестроить, надо выпрашивать у него на это средства, разрешение, убеждать, что рабочие не могут, не должны так паскудно жить!

Алексей вышел во двор. Было еще совсем светло. Где-то светило солнце, невидимое отсюда. Чувствовалось уже тепло быстро приближающейся весны. Легкий ветер приносил влажные запахи. В настежь открытые ворота все прибывали и прибывали рабочие, заполняющие двор. Люди вели себя как-то особенно тихо, говорили негромко, словно пришли сюда для того, чтобы выкурить цыгарку, поговорить, как говорят и курят с соседом на завалинке.

Шкаров пришел в помещение столовой, где должно открыться собрание. Длинные, похожие на топчаны, столы были вынесены. Скамейки расставлены рядами. Впереди из столов сделан для президиума помост. На нем стоял еще стол, покрытый кумачом.

— Все как полагается, — отметил Алексей и вышел сзывать людей.

Рабочие заходили не спеша, степенно, внимательно оглядываясь. Некоторые, приложив к шапке руку, на секунду задерживали ее, соображая: снять или не надо? Но видя, что его товарищ сидит уже без шапки, распахнув пиджак, делал то же, плотно и надолго усаживаясь на скамью.

— Курить-то позволим себе? — спросил кто-то.

Шкаров невольно подумал: «Хозяйственный человек... Как дома чувствует себя».

Прислушиваясь к тому, что говорил Климов, Шкаров пристально разглядывал сидящих перед ним людей, почти наполовину знакомых и близких. Они сидели на лавках, стояли в проходах, устремив на оратора застывшие, настороженные лица. Вдруг Алексей заметил, что вдоль стены медленно пробирается человек. На нем высокая оленья шапка, сдвинутая на глаза. Шкаров пригляделся и узнал Федора...

Стараясь быть незамеченным, не шуметь, Алексей пошел навстречу Баландину.

— Ну, зачем ты, зачем?.. — спрашивал он громким шопотом, останавливая Федора. — И — один... Вот грех какой! Разве можно?

— Ничего, ничего... — отговаривался Баландин, продвигаясь вперед.

Первым заметил эту короткую сцену Климов. Он перестал говорить и смотрел на приближающегося Баландина. Рабочие тоже оглянулись, некоторые поднялись с мест.

— Баландин, — сказал оратор, как бы желая объяснить, почему он прервал свою речь.

Как-то внезапно все поднялись и захлопали в ладоши. Множество рук подхватили Федора и пронесли до президиума.

— Тише, тише, — кричал Шкаров. — Тише!

Климов хотел обнять Баландина, но он отвел его рукой, потрел по щеке и сказал:

— Это ты, Миша?... Растете вы все... как на дрожжах!

Федор встал около стола, огляделся, перекинулся несколькими словами с сидящими на скамьях и начал тихо, боясь раскашляться:

— Товарищи... Не верьте, если вам будут говорить, что мы теперь можем сложить руки. Это выгодно только буржуазии... Война еще продолжается, голод усиливается, жизнь ухудшается. Да вдобавок — хозяева грозят прикрыть фабрики, чтобы измором ослабить наши силы. Не быть этому! Рабочие и бедные крестьяне понимают, что надо с корнем вырвать капитализм, чтобы сделать свою жизнь счастливой. Придет свет... свет...

Наблюдавший все время за Баландиным Алексей увидел, как Федор побелел и закачался. Шкаров кинулся к нему, подхватил за подмышки и посадил на стул, поданный Ивлевым

Несколько минут Федор сидел с плотно закрытыми глазами, не шевелясь. Когда он пришел в себя, Шкаров наклонился к нему и зашептал:

— Я говорил тебе... Федор! Просил не ходить!.. Ну, что с тобой делать?

Баландин отвел его рукой от себя:

— Ничего серьезного, Алеша... Незачем беспокоиться, не время.

Шкаров объяснил присутствующим в зале, что Баландин очень плох и речь свою кончать не будет.

— Как это не буду? — сказал он громко, провел ладонью по лицу, словно снял с него паутину и, держась за стол, проговорил:

— Кто верит в победу, тот непременно победит. А мы, товарищи, верим с вами, надеемся, — значит мы победим, добудем себе прекрасную жизнь!..

Шкаров помог выйти ему во двор, посадил в пролетку вызванной с фабрики лошади, сел и сам, примостившись на краешке и опустив одну ногу на крыло.

Дорогой Федор сказал ему:

— А в самом деле плохо мое дело-то. Кажется, немного протяну, а — жаль, очень жаль, Алеша. До чего жизнь-то будет хороша!..

2

На городскую площадь, вымощенную горбатым булыжником, до белизны вымытую дождями, рано с утра были выведены последние солдаты гарнизона, спешно отправляемые на фронт по приказу Керенского. Они были поставлены так, что шеренги образовывали прямой угол, концы которого упирались в низкое и длинное по фасаду здание городской управы. Это построение было обусловлено расположением трех небольших трибун, украшенных красной материей, зеленью и пыльными вялыми цветами. Солдаты были в полном походном обмундировании, с начищенными пуговицами и пряжками ремней, чисто побритые. Казалось, что они тоже разделяют все торжество предстоящей отправки их на фронт — далекий и неизвестный, как судьба.

В треугольнике, посреди площади, не сгибая ног, обутых в ярко начищенные денщиками сапоги, прохаживались офицеры. Они были в новых парадных костюмах и желтых ремнях с разными безделушками. Молоденькие, наспех приготовленные офицеры, сынки буржуа, курили длинные и толстые папиросы «Пушка», мундштуки которых едва умещались во рту. Они говорили между собой не в меру громко, без надобности смеялись, как бы демонстрируя перед солдатами свое превосходство, свое право и на громкий разговор, и на смех, и если бы вдруг оказался здесь даже сам полковник, они все равно не прекратили бы их. Да и папиросы они курили до того часто, что видно было, что курят они ради одного только бахвальства.

Составив ружья в козлы, солдаты, не теряя порядка, говорили между собой тихо, деловито, обсуждая, видимо, свое близкое, не относящееся к тому, что должно произойти сейчас на площади, что их ожидает впереди, на фронте. И словно опасаясь этих затанцованных солдатских разговоров, некоторые офицеры проходили близко от строя, стараясь своим неожиданным появлением заставить солдат врасплох, подслушать их беседы.

День был воскресный, и множество рабочих пришло посмотреть на проводы. Не обращая внимания на офицерские окрики, рабочие близко подходили к солдатам, переговаривались с ними. Среди провожающих находился и Алексей. Он пришел сюда не только для того, чтобы просто посмотреть на проводы, послушать напутственные речи священников, членов эсеро-меньшевистского комитета безопасности. Ему хотелось узнать, как будут вести себя солдаты, как они отнесутся ко всему этому.

Алексей подошел к одной группе рабочих, запросто беседующих с солдатами, и услышал:

— Неужели опять будете воевать? Кого же теперь-то защищать будете? Царя-то больше нету!..

Солдат глядел себе под ноги, чертя сапогом по серому булыжнику, потом, как-то пылливо взглянув на старика, он ответил неопределенно:

— На месте виднее будет...

— А ежели не успеешь? Смерть нагрянет. Она, говорят, на плечах сидит, смерть-то!

— Не страшай, отец, — несколько оживился солдат. — Не беспокойсь, мы погодим умирать-то!..

Прислушиваясь к этому разговору, Алексей заметил, что солдат что-то знает большее, однако, или не хочет или опасается высказать все незнакомому человеку, ожидая для этого более подходящего случая.

В одиннадцатом часу дня открылся молебен. Были принесены хоругви, иконы. Поднявшись на одну из трибун, священник ревностно махал дымящимся кадилом и пел что-то длинное, однотонное, будто без слов. Эта процедура молебна казалась ненужной и даже бессмысленной: вдоль управы стояли знаменосцы, держа на высоких древках тяжелые, слегка колеблемые ветром красные знамена.

Вслед за священником на всех трибунах, как по команде, появились ораторы. На одной из них выступал Щеглянский, речь которого Алексей Шкаров услышал впервые на митинге в день своего возвращения из тюрьмы. Простирая вперед то одну, то другую руку, он опять, как с балкона управы, начал сыпать на головы солдат и рабочих, заполнивших тротуары улиц, туманную словесную пыль. И всякий раз, когда он повторял, что «в смерти немцев — наше спасенье», офицеры взмахивали перчатками, заставляя солдат кричать «ура».

Отправляясь на площадь, Алексей не думал о том, что он должен выступить, сказать солдатам правду о войне. Однако, услышав бесстыдные слова эсера Щеглянского, Шкаров стал пробираться к трибуне.

— Куда? Кто таков? — сдавленным голосом закричал Щеглянский.

— Я хочу слово сказать...

К Алексею подбежал розовощекий, весь в ремнях и карманах молодой офицер.

— Здесь не клуб, — сказал офицер и, скрипя ремнями, толкнул Алексея в плечо, выпроваживая за линию солдат.

— Посторонних не пускать! — приказал он солдатам.

Наблюдавший за этой сценой рабочий громко спросил:

— Значит, мы посторонние для вас?

Не зная, что ответить, офицер бросил, уходя:

— Но-но... без намеков!

Алексей, чувствуя необходимость сказать хотя бы несколько слов, подошел к солдатам и стал говорить против бессмысленной

войны, советуя направить штыки против тех, кто посылает их на фронт. К нему подбежал на носках все тот же розовощекий офицер и закричал:

— Кто позволил агитировать?.. Мы шпионов на месте расстреливаем! Пшол отсюда!

Не теряя самообладания, оставаясь внешне спокойным, Алексей укоризненно сказал:

— Мне родина во сто крат дороже, чем тебе. Но разве солдаты за свою родину гибнут? Кого они защищают?..

— Молчать! Застрелю! — взвизгнул офицер. Круглое лицо его передернулось, а рука сама собой полезла в кобуру. Алексей понял, что это может и в самом деле окончиться плохо. Но не успел он что-нибудь предпринять, как один из солдат подошел сзади к офицеру и ударил его по загривку. Офицер легко перегнулся в пояснице, будто извинительно поклонился Шкарову.

— Иди, — сказал Алексею бородач, — мы с ним поговорим, иди. А то всяко может случиться: пальнет еще!

Растаяв в толпе рабочих, Шкаров только тогда подумал о том, как это все неожиданно и быстро произошло; никто из других офицеров даже и не заметил. Вспомнив свою догадку относительно того, что солдаты кое-что знают, но пока не хотят высказывать, ожидая наиболее подходящего случая, Алексей теперь убедился, что это именно так.

Около полудня солдаты уходили с площади молчаливыми, стройными рядами. Они были «чужими» для этого города. Когда-то они были присланы сюда, чтобы вести охрану. Поэтому у них не было здесь ни родных, ни близко знакомых. Некому было даже заплакать об их окопной судьбе. Только начищенная медь оркестровых труб редела безустали на всю улицу, наполненную духотой и серой пылью.

### 3

Гриша Такось приоткрыл дверь, просунул голову и увидев, что в комнате, кроме Алексея, никого не было, смело вошел, улыбаясь всем подвижным, натренированным лицом. Шкаров приподнялся к нему навстречу, протянул руку. Но прежде чем поздороваться, Гриша вытер свою руку о полу пиджака.

— Боишься испачкаться? — спросил Алексей.

Обычно быстрый на ответы, находчивый и даже острословный, Гриша не сразу придумал, что надо сказать.

— Такось, ты начальник у нас...

Поняв замешательство Такоси, Алексей рассмеялся.

— Не гладко получилось!

Гриша поиграл бровями, сознался:

— Да, неказисто.

Шкаров поставил перед ним жестяную баночку с махоркой.

— Закуривай, Григорий Никитич, — Помолчав, Алексей ска-

вал: — Я хотел бы, Григорий Никитич, поговорить с тобой по-серьезному... по-душам!

— Был мужик серьезный... — начал мурлыкать что-то Гриша, свертывая папиросу необычайно быстро и ловко. Пальцы рук у него были длинные, подвижные, умеющие хорошо работать. Алексей уже знал, по рассказам рабочих, что Григорий Никитич Сывороткин, получивший безобидное прозвище Такось, был отличным слесарем и мастером на выдумки. Говорили, что он изобрел какой-то механизм, ускоряющий процесс печатания. Писал мастеру, тот — заведующему, заведующий — директору. Последний вызвал Такось в свой кабинет, выдал ему пять рублей, оставив у себя изобретенный Гришей механизм. Тем это дело и кончилось.

Ходили о Такоси и другие рассказы и все они говорили об одном: несмотря на чудачество свое, юродство, созданное годами и обусловленное тяжестью бытия, Гриша — неглупый человек, сметливый и во многом способный. Вот почему Алексею и захотелось внушить Сывороткину мысль — отказаться от юродства, вернуть себе настоящий облик человека, стать тем, чем он мог бы быть.

Гриша оглянулся, будто опасаясь посторонних, и как-то непривычно серьезно, даже голосом другим, — сказал:

— А нелегко до нее, до этой самой души, Алексей Матвейч, достать-то. Еще никто не говорил со мной так-то, по-душам!

Алексей заметил, как желтые, с голубыми ободочками зрачки Такоси вспыхнули ярким, скрытым огоньком, и глаза вдруг стали выразительно-глубокими, способными глядеть на мир открыто и прямо.

— Вижу я, Григорий Никитич, умный ты, хороший человек, — продолжал Алексей. — Только испортило тебя время, исковеркала страшная жизнь, заставила надеть маску.

Гриша, кажется смущенный словами Шкарова, глубже сел на стул, подложив под себя правую ногу, свернул вторую папиросу и, часто, безотчетно попыхивая, смотрел на Шкарова сквозь тонкую пелену дыма.

— Ты не сердись на меня, Григорий Никитич, за откровенные слова... Правда, она — лучше всего!

Такось широко взмахнул рукой, щелкнул пальцами, словно костяшками. Он, кажется, хотел по привычке сгримасничать, выкинуть коленце, но сдержался.

— Нет, Алексей Матвейч, я не сердюсь. Ты верно понимаешь... Засорили мою душу. — Подумав, он сказал вопросительно: — Ты думаешь мне легко притворяться?

— Именно притворяться, — подхватил Шкаров. — А теперь не надо этого, дорогой мой! Видишь, что происходит вокруг? Борьба, самая жестокая... Рабочие добиваются власти, хотят быть хозяевами всех богатств на земле. Ты приглядываешься к этому?

Гриша все-таки не вытерпел, сгримасничал, перекосив лицо: — Одним глазом.

— Я догадываюсь... И мне хотелось бы, Григорий Никигич, чтоб ты... Ну, словом — подумал: стоит ли теперь носить маску?

Шкаров считал, что на первый раз он сказал все, что нужно и выжидательно замолчал. Ему хотелось услышать, что скажет Гриша. Но Сывороткин тоже молчал. Так они сидели несколько минут. Алексей барабанил пальцами по жестяной коробочке и смотрел в окно, во двор фабрики, по которому чинно расхаживали неизвестно откуда залетевшие голуби. Такось курил третью папиросу. Наконец, он не выдержал этой тишины, встал.

— Можно итти? — спросил он, точно Алексей задерживал его.

— Так ты ничего и не скажешь... определенного?

— Я открылся тебе, Алексей Матвеч, весь открылся. Больше не знаю, что сказать!..

— Словами, конечно, не поможешь... Надо бросать притворство, определить себя.

— Хочу, а — не могу: как чешуя на рыбе, это баловство-то.

— А ты попробуй.

— Ладно, попробую, — сказал Такось, пошевелив бровями.

Шкаров улыбнулся.

— Ведь не хотел, чорт, а — сделал... Как будто кто другой делает за меня! — Он пожал крепко Алексею руку. — Но я попробую вернуть себя, Алексей Матвеч... Попробую!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Утром, когда Шкаров сидел один в доме, подбирая материалы к пленуму фабричного комитета, в комнату скатился по лестнице вихрастый, курносый мальчишка, одетый, видимо, в отцовскую куртку без пуговиц и с разодранными петлями. На ногах были солдатские рыжие ботинки, от времени ставшие похожими на железные. Мальчишка вскинул правую руку, выпростал ее из рукава и подал Алексею записку. В ней было всего два слова:

— Умирает Федор.

Словно кто-то ударил Алексея под сердце: у него перехватило дыхание. Комната и находящиеся в ней вещи качнулись, потеряв устойчивость, и бесшумно поплыли кругом. Шкаров сидел, глядел куда-то в пространство, а по лицу текли частые, крупные слезы.

То, что Баландин слишком плох, это Алексей, конечно, хорошо знал. Но у него никогда не возникала мысль, что Федор, его самый близкий, дорогой человек, умрет, перестанет вообще существовать, то есть дышать, говорить, думать, советовать, помогать в делах. И вдруг: Федор умирает! Как это потрясающе тяжело и чудовищно!..

— Тетенька Поля наказывала скорее притти, — сказал мальчишка, спокойно глядя, как плачет взрослый человек, плачет, не стыдясь его, не вытирая слез.

Алексей оделся и, не застегнув пальто, быстро пошел к Баландиным. Вихрастый мальчишка бежал за ним, едва успевая в своих тяжелых, словно железных, солдатских ботинках.

В доме Баландиных, кроме Пелагеи Григорьевны, Алексей застал Ивлева, Климова и большого лысого человека в золотых очках. Он передвигался по комнате, как хозяин, всех поталкивая, не извиняясь, и задевая за ножки стульев своими неуклюжими, вывернутыми наружу ступнями толстых ног. Как потом узнал Шкаров, это был какой-то заезжий, знаменитый профессор. Кроме того, в тесной кухоньке и комнате находились неизвестные Алексею люди. Ростакивая их локтями, профессор ворчал:

— Абсолютная тишина, спокойствие... А здесь — как на митинге!

Ивлев стоял у изголовья Федора, который лежал с полуоткрытыми, неподвижными глазами. Кожа лица больного еще больше пожелтела, стала прозрачнее, без морщин. Исколотые шприцем руки беспомощно, как чужие, лежали вдоль тела. Только пальцы их, сухие, похожие на тростник, слабо двигались, как бы что-то перебирая. Ивлев только фиксирующе взглянул на вошедшего в комнату Алексея, не сделав на лице ни одного движения, словно хотел сказать этим, что сейчас не следует даже здороваться, — все внимание должно быть уделено умирающему Баландину.

К Алексею неслышно подошла Пелагея Григорьевна и без обращения, словно между нею и Алексеем уже до этого происходил разговор, сказала:

— Сердце... Профессор говорит: плохое сердце. Не надеется... Уколами поддерживает...

Шкаров оглянулся. Лицо женщины было заплаканное. Уставшие, бессонные глаза ее блестели холодным светом, точно стеклянные.

— Я никак не могу этому верить... не могу...

— И не надо, вот и хорошо, — сказал Алексей бессвязно, сам не понимая, что значит — хорошо, к чему оно должно относиться.

Он взял Пелагею Григорьевну за плечи, повел к стулу. Сейчас она была покорной, пошла не сопротивляясь.

— Если бы не сердце, сказал профессор, ноги можно было бы вылечить, — продолжала она говорить о своем, о том, что ее больше всего волновало.

В течение полудня Федор лишь дважды, на короткое время, приходил в себя, медленно открывал глаза, что-то шептал почти неподвижными губами, однако никого уже не узнавая. Около часа он вдруг судорожно передернулся, точно его чем-то обожгло, и стал вытягиваться, тяжелеть, голова глубже вмялась в подушку и чуть приподнятый до этого подбородок опустился плотно на грудь. Находящийся тут же в комнате профессор взял руку, но пульса уже не было. Сердце перестало биться.

Профессор поправил очки, громко сказал:



— Теперь я ничего не могу сделать!..

Он аккуратно, педантично собрал инструменты в маленький саквояжик, оделся и, не надевая шляпу, вышел.

2

Несколько дней Шкаров находился под впечатлением смерти Баладина. Он ходил сам не свой, с трудом отгоняя от себя жгучее и глубокое чувство скорби. Только погружаясь в фабричные дела, шумные и разнообразные, он забывался на время, облегчая этим свою душу. А работы было много. К нему шли теперь со всеми нуждами, большими и малыми. Все это копилось годами, десятилетиями, рабочие не имели возможности освободиться от них. А теперь, выбрав комитет, который был обязан понимать и принимать их нужду, понесли к нему свои обиды и ссадины, причиненные хозяином фабрики, администрацией, мастеровыми. Алексей всех внимательно выслушивал. Если можно, — тут же помогал, а что требовало необходимых решений, — он записывал, обещая сделать как можно скорее.

Однажды пришла к нему работница и спросила:

— Когда ж мы получим восемь часов?

— Нужно думать — скоро, — ответил Шкаров.

Работница покачала головой:

— Ой ли, Матвейч. Я заходила к заведующему, он показал мне декрет министра Львова, так о восьми часах там ни слова не говорится. Может быть, самим декрет написать? А?

Шкаров посмотрел в ее небольшое, пепельное лицо. Поймав его взгляд, женщина улыбулась:

— Вот как хочется, Матвейч, свободно вздохнуть. Истинно говорю тебе... Нет сил больше носить на душе пири!

— Повремени немного. Уж коль приехал Владимир Ильич Ленин — Советы победят. Будь уверена!.. Он все сделает!

— А нельзя ли поторопиться? — спросила она таким тоном, как будто это зависело от Шкарова.

Громыхнув о стенку дверь, в комнату комитета вбежала работница ширельного отдела и тревожно спросила:

— Что мне теперь делать?

— А что случилось?

— Уволили... говорят, лишняя! А я знаю — нет, потому что машина без человека не пойдет... Ни за что не пойдет. Я думаю: помоложе хотят взять!.. Но мне-то что делать?.. У меня ребята, муж — на войне. Третьевом годом забрали..

— Кто тебе сказал об этом?..

— Мастер, Иппат Савватейч. Спрашиваю: «За что?» — Говорит: «Не знаю». — Я пошла к заведующему. На каком, дескать, основании? Мнется, вроде тоже не знает... Пошла к хозяину — не допустили. Как в прежнее время — мытарят людей и нет на них никакой напасти!..

— Посиди, — сказал Шкаров.

Он вызвал мастера, Игнат Савватеич, грузный, с мягким отвислым животом, вошел чинно, оглядывая комнату своими большими, очень широко расставленными глазами. Казалось, что он мог глядеть и в стороны, не повертывая головы.

— Кто меня звал? — отчужденно спросил он.

— Я звал, — отозвался Алексей. — Ты меня знаешь, Савватеич?

— Будто бы знаю... Зачем я тебе понадобился?

— А ты присядь, — не отвечая, сказал Шкаров. — Ноги-то беречь надо — не малые годы... Разговор длинный пойдет!

Мастер неохотно присел на краешек стула, словно опасался, как бы не продавить его тяжестью своего грузного тела.

— Ты эту женщину знаешь?

Мастер оглянулся, прищурив глаза.

— Как не признать?.. Только от нас уволена.

— За что?

— Не ведаю — распоряжение заведующего.

— Врет он, — заметила женщина, вскакивая со стула. — Заведующий тоже ничего не знает!..

— А тебе откуда известно? — спросил он.

— Я была у него, спрашивала...

— Гм... Тогда, возможно, сам хозяин писал.

Это было очень похоже на историю с ткачихой Васюткиной. И Алексей спросил:

— Где же спрятаны концы?

— Не знаю...

— Не знаешь?.. Ну, хорошо... ладно. А если окажется... если выяснится, что ты, Савватеич, неправду говоришь, то... Сам понимаешь — рабочие шутить не любят в таких делах!

Мастер беспокойно заскрипел стулом. Его большие глаза избегали встречаться с глазами Шкарова. Мясистый нос на широком розовом лице, со швами из тонких и розовых жилок, вспотел. Шкаров понял, что Савватеич знает что-то, но не хочет сказать. Колеблется. И чтобы не показать того, что он догадался о сомнениях мастера, Алексей сказал:

— Эту женщину... как твоя фамилия? Березкина?.. Вот, Савватеич, примешь Березкину опять на работу. Понятно?

Мастер поднялся со стула, но не уходил. Вытирая вспотевший нос, он глядел выжидательно на Шкарова, словно хотел что-то еще услышать от него. Однако Алексей сказал все, что было нужно.

— Ты, значит, не веришь мне? — спросил Савватеич.

— Нет, говорю тебе откровенно. Мастер обязан знать, за какую провинность увольняют работницу с фабрики. А ты знаешь, а сказать не хочешь!

Игнат Савватеич надел картуз и пошел к двери. Отворив ее,

мастер, колыхая своим раздутым животом, каким-то утробным шопотом сказал:

— А если я, Алексей Матвееч, не могу сказать?.. Хочу, а не могу? Тогда что?.. — и, обратясь к женщине, сказал: — Пойдем!..

Оставшись один, Шкаров подумал о том, что, может быть, завтра же следует устроить заседание комитета и вынести решение, которое бы запрещало увольнение рабочих без ведома и согласия фабричного комитета.

Вошел Арбузов. Он был чисто выбрит, волосы головы, зачесанные набок, лежали волнисто, курчавились. Да и весь Арбузов был какой-то курчавый, похожий на парикмахера. Закрывая веки, он спросил:

— Вы почему самоуправствуете?..

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — сказал Шкаров.

— Вы не имеете права самолично решать важные вопросы, этим вы озлобляете рабочих против хозяина фабрики! Вы разжигаете борьбу!..

— Опять ничего не понимаю... — повторил Шкаров, хотя теперь он уже догадался, о чем пришел говорить с ним Арбузов, секретарь фабричного комитета, избранный от мастеровых и служащих фабрики.

— Мастера Игната Савватееча вызывали?

— Ну, да — вызывал. А что?

— Требовали от него, чтобы он оставил работницу? — спрашивал Арбузов, не отвечая на слова Шкарова.

— Пока не требовал, а предложил только оставить ее на работе.

— А почему?

Шкаров поднялся из-за стола, подошел вплотную к Арбузову.

— Разрешите спросить: чем вызван этот разговор? И что это за манера — говорить одними вопросами? Ну, я вызывал мастера, просил, если хотите — требовал оставить женщину на работе, потому что она была незаконно уволена, без всяких на то оснований. Вы не согласны, что ли, с этим?

— Это дело не наше, хозяину лучше знать: надо или не надо увольнять рабочих. На то он и хозяин. Мы только можем ему советовать...

— Разве нас для этого выбирали рабочие?.. Советовать? Нет, Арбузов, нас выбирали не советовать с хозяином, а защищать интересы рабочих! Вы хотите примирить с хозяином, а мы — наоборот... Борьба есть борьба — и незачем тут разводить патаку! Я завтра созову заседание комитета, послушаем, что скажут все товарищи.

Арбузов достал из кармана брюк восковой шарик и, подбирая его и лоя на ладонь правой руки, убежденно сказал:

— Этот вопрос не подлежит даже обсуждению... Вмешиваться в частную собственность, в интересы хозяина фабрики мы не можем, не имеем права! Это карается законом!..

— Интересное совпадение, — сказал Шкаров после некоторого молчания: — заведующий фабрикой тоже, как и вы, ссылается на законы... министра Львова! Знаем цену этим законам, знаем, кому они служат... Хорошо, что вы так откровенно заговорили, это лучше, нежели вести двойную игру.

— Вы проповедуете насилие, ввергаете рабочих в анахизм, совершенно не хотите понять интересов родины...

— Нам нужна родина, да только без капиталистов, настоящая родина, трудовая!..

Арбузов подбросил восковой шарик в последний раз, поймал его, положил обратно в карман и, уходя, язвительно сказал:

— Рано тебя, кажется, выпустили из тюрьмы... Еще бы следовало подержать! Может быть...

Алексея взорвало, кровь бросилась к лицу, всегда спокойное и уравновешенное состояние изменило ему, — Арбузов оскорбил самые лучшие и благородные чувства. Он готов был догнать Арбузова, человека жалкого и ничтожного, и, не думая о том, хорошо это или плохо, — избить его.

— Сволочь эсеровская!.. — проговорил Алексей, расхаживая по комнате. — Подлипала!.. Хозяйский угодник!

### 3

Город погружался в темноту. Было тихо, словно он прислушивался к чему-то, хотел что-то узнать и — все еще не мог. Высокое, беззвездное, как бы завешенное темносиним бархатом, небо чуть освещалось небольшим куском луны. Уличные газовые фонари были разбиты, наполовину повалены, — они давно уже никем не зажигались. Только на Песках, небольшой площади, расположенной в низине, на правом берегу реки, стояло освещенное летнее здание цирка, сбитое из тонких, шершавых досок. Сейчас оно напоминало улей, в который залетело одновременно несколько семей, враждебных друг другу. Они шумят, спорят — и этот разнополосый гул слышен на улице.

Пропустив Голубева и Ефима, Шкаров вошел в цирк последним. Все ряды, расположенные полукругом, были забиты до отказа. Не найдя себе места в партере, все трое поднялись на галерку, протискались вперед и стали ждать открытия митинга.

Свесившись, положив голову на руки, Алексей глядел вниз на пестрые, неугомонные ряды людей, на пустую сцену, посыпанную еловой хвоей, точно кто-то готовился внести сюда покойника.

— Митингом брюха не успокоишь, — услышал Алексей среди себя грубоватый окаящий полос. — Лучше бы хлеба достали, чем разговоры говорить!

Шкаров оглянулся. Говорил, ни к кому не обращаясь, пожи-

лой человек в старой, заплатанной и испачканной блузе. Черная поседевшая борода его росла как-то странно, веером. Усы тоже — не спускались вниз, как обычно, а торчали кверху, точно были перевернуты. Алексей невольно улыбнулся. Это, видимо, не понравилось человеку. Он стянул на переносице брови и сказал:

— Чего показываешь мне зубы-то? Мало в них интереса. Отвернись!

— Ты на всех так сердит? — спросил Шкаров.

— На себя — нет, на себя я не сердит! — ответил он уже добродушнее. — А на людей... на некоторых людей я сердит.

— А на меня? — спросил Шкаров.

— Я тебя не знаю. Ты — кто?

— С фабрики Титова...

Носков нагнулся к человеку с перевернутыми усами и шепнул ему:

— Большевик он... Слышал о таких?

— Слыхивал, как же. Только не врешь ты?

Шкаров подтвердил:

— Верю.

— Тогда, значит, я напрасно тебя стеганул.

На сцену вынесли небольшой, квадратный стол, и сейчас же явился узкоплечий, подвижный человек, словно он стоял за кулисами, нетерпеливо дожидаясь, когда вынесут для него стол. Человек был одет в черный костюм, выгуженный, как в день именин. Пенсне, похожее на две слезы, дрожало на носу. Алексей узнал Щеглянского, который неожиданным стечением обстоятельств, превратностью времени из скромного и тихого конторщика стал неутомимым говоруном. Щеглянский глядел в зал, набитый людьми, и потирал ладошки, словно торговец, совершивший выгодную для себя сделку.

В нескольких местах захлопали чрезмерно громко. И не успели еще смолкнуть аплодисменты, как по всем рядам пронесся шум и свист, сливаясь под куполом в невообразимое эхо. Человек с перевернутыми усами, сидящий позади Алексея, поднялся и крикнул сквозь ладони, сложенные трубочкой:

— Долой, не надо клоунов!

Кто-то с горькой усмешкой напомнил ему:

— Здесь цирк... пусть представляет.

С большим трудом удалось навести в цирке тишину. Пользуясь этим, Щеглянский без всяких вступлений начал говорить с такой щедростью и быстротой, что или он опасался, как бы его не перебили, или, может быть, он думал, что чем больше слов он произнесет, тем будет ярче истина...

— Словно гром под ясным куполом неба раздался над нами, — говорил Щеглянский, перебирая в воздухе руками, — темный гигант самодержавия зашатался и мягко рухнул. Почти не было шума, слышался лишь звон падающих цепей, цепей осво-

божденного народа. Порой кажется, что все мы сладко заколдованы, что все мы находимся в каком-то волшебном сне...

Он вытер платком вспотевшее лицо и, не кладя его обратно в карман, а размахивая им в воздухе, — продолжал:

— Но упиваться победой не дает нам Вильгельм II... Мы должны разбить его, а чтобы разбить — необходимо вести войну до победного конца, как призывает наше Временное правительство. Только не поддавайтесь агитации большевиков... этих раскольников... этих...

Ему не дали договорить. Люди поднялись, закричали, затопали ногами, засвистели. Теперь закричал и Шкаров.

Расталкивая плечами сгрудившихся в проходах людей, к трибуне пробрался человек без картуза, с лохматыми волосами, падавшими на лицо. Он вспрыгнул на помост, вытянул руку вперед и, обращаясь ко всем, спросил:

— Видите?..

Он поиграл изломанными пальцами левой руки и повторил:

— Видите? Лучше смотрите! Все изжеваны пальцы-то! А эта, — он взялся за рукав, который оказался пустым, — а эту — война откусила напрочь! Я теперь спрашиваю: кому нужна война? Разве нам надоели свои руки?.. Что без них делать, чем добывать хлеб, — спрашиваю вас! Как и других, меня силой тянули в пасть войны — она меня и покусала. Вот-от!.. — он опять показал свои узловатые пальцы и потряс пустым рукавом зеленой гимнастерки.

Алексей глядел на искусанного войной человека и чувствовал, как его сердце начало биться учащенно, радостно. Он толкнул Голубева и сказал:

— Это Чигин...

— Кто он? — спросил Захар.

Шкаров только сейчас догадался, что Голубев не знает Семена, его старого товарища, неизвестно куда пропавшего много лет тому назад, словно камень, брошенный в Удодгу.

— На фабрике когда-то работал... в сушилке.

— У нас?

— Да.

Короткая речь, несвязная, но такая близкая по своей наглядности для большинства присутствующих в цирке, произвела оглушающее действие. Люди вскакивали с мест, кричали, требуя удаления Щеглянского и других эсеров и меньшевиков, задумавших анонимно, воровски провести митинг и не осмелившихся заявить публично, перед всем народом, что это они устраивают митинг, не надеясь, что, узнав об этом, к ним придут рабочие, фронтовики...

Щеглянский отошел в глубину сцены, в самый угол, и блуждающими глазами испуганно смотрел, как несколько рабочих и фронтовиков поднялись на сцену и, провозгласив, что митинг

открыт, предложили избрать президиум, но без меньшевиков и эсеров.

— Не будем принимать их во внимание... — просто сказал кто-то.

Чигин стоял в окружении шумных и решительных людей, немного удивленный тем, что его безыскусственная речь вызвала такой переполох, такую бурю. И, не сходя со сцены, он продолжал кричать, размахивая единственной помятой рукой:

— Долой тех, кто за войну! Пусть они сами понюхают пороха да покормят окопных вшей... Долой войну!..

Человек с перевернутыми усами, тронув Алексея за плечо, сказал убеждающе:

— Иди, брат, иди, растолкуй народу правду жизни.

Шкаров и Голубев пробрались на сцену, Захар позвонил в колокольчик и поднял руку, требуя тишины.

Однако наведенный Голубевым порядок совсем неожиданно нарушил Алексей Шкаров. Подойдя к Чигину, Алексей спросил:

— Узнаешь меня, Семен?..

Чигин посмотрел на него и широко рассмеялся, надувая щеки так, как это он делал в детстве. Тогда Ленке казалось, что Сенька всегда что-то держит во рту, а проглотить жалеет.

— Неужели это ты, Алексей? — по-детски обрадованно закричал Чигин и кинулся целовать Алексея.

Видя эту сцену, присутствующие в цирке, поняв ее по-своему, как единство желаний, протеста против империалистической бойни, против мерзкой и лживой политики всех прихвостней фабрикантов, устроили бурную овацию. Отовсюду неслись крики одобрения, восторга.

Открывший митинг Захар Голубев сказал небольшую, но сильную речь. Он говорил о том, что война несет народу лишь разорение, голод, нищету. Война нужна только фабрикантам, которые наживаются миллионные состояния. Рабочие должны протестовать, бороться с буржуазией, захватившей власть. Во время его речи в партере вскочил, как обожженный, толстенький человек и, размахивая шляпой, которую он до сих пор держал в руках, спрятав ее, прокричал:

— Демагогия!..

Он хотел что-то еще крикнуть, но не успел. Чья-то рука поймала его шляпу, надела ее глубоко на голову и втиснула человека обратно в стул.

— Молчи, петрушка!.. Сиди!

Но человек, густо выругавшись матерно, забыв в эту минуту о всяком приличии, по-медвежьи пошел к выходу, подчеркнуто грубо наступая сидящим на ноги, толкая их локтями, коленами. Этот невменяемый почти припадок ненависти, злопыхательства вызвал только смех, колкие замечания.

Алексей возвращался домой вместе с Чигиным.

— Ты, значит, все еще в подвале живешь? — сказал вопро-  
сительно Чигин.

— Пониже лучше — не упадешь, — ответил шутливо Алексей.

— Мамаша-то жива?..

— Нет, брат, умерла.

— Давно?

— Прошлым годом... Без меня, я в тюрьме сидел.

— Значит, побывал все-таки?.. Это за книги-то?..

— За все сразу, — неопределенно отозвался Шкаров. — Ты  
сам-то где сейчас обитаешь, что делаешь?

Чигин тоненько, продолжительно свистнул:

— Обо мне теперь целый роман составить можно. Вот приду  
к тебе и расскажу обо всем.

Алексей стоял возле калитки и долго прислушивался,  
как в ночной тишине отдавались звуки шагов удаляющегося  
Чигина.

#### 4

Месяц июль был жаркий, безветренный. За весь день  
солнце успевало так нагревать каменные стены домов, бульжни-  
ки мостовых, что в городе и по вечерам было нестерпимо душно.  
Листья деревьев, еще совсем зеленые, блекли, свертывались  
и опадали, хотя до осени было далеко. Даже около уличных  
колодцев, где всегда стояли огромные лужи воды, сейчас земля  
была сухая, растресканная.

Иногда вечерами Алексей Шкаров, устав от шумной и разно-  
образной работы, выходил отдохнуть во двор. Садился на широ-  
кую лавочку между двумя старыми липами. Закурив папиросу,  
Алексей наедине с самим собой всматривался по мелочам, шаг за ша-  
гом, все недавние события, приводил в порядок мысли, проверял  
себя, свои поступки.

И точно подстергая Алексея, во двор бесшумно выкатыва-  
лась хозяйка дома. Разметая длинным подолом юбки сухую лег-  
кую пыль, она приближалась осторожно, словно боялась того, что  
желез встанет и уйдет, оставив ее, обремененную сомнениями.  
Когда-то непомерно гордая, теперь Пяткина, обращаясь к Алек-  
сею, спрашивала заискивающим голосочком:

— Дозволь, Алексей Матвейч, присесть...

— А зачем спрашивать-то? Садись... Ты — хозяйка!

Пяткина терла платком свое жирное, дряблое лицо с толстыми  
складками лишней кожи, потом лениво говорила:

— Тебя, Алексей Матвейч, на днях какой-то человек спраши-  
вал. Интересовался, когда ты бываешь дома...

Шкаров без надобности закуривал другую папиросу.

Он уже знал, что это все лишь краткое вступление, а самая  
речь будет еще впереди.

— Куда же теперь, Алексей Матвейч, двигается жизнь?



— Туда, куда ей следует...

Это было слишком неопределенно. Пяткина хотела бы услышать от Алексея, до сих пор непонятного и странного человека для нее, что-нибудь ясное, определенное. Однако, не желая всему жильцу докучать вопросами, она начинала вслух рассуждать, надеясь этим вызвать Шкарова на разговор.

— Ну, хорошо, — говорила она, — ну, царя теперь не стало. Тому, значит, не миновать... Ляд с ним, с царем-то. А дальше-то что, дальше что пойдет? Я никак не могу понять этого. Мы-то в чем провинились, лавочники-то?.. На сорок рублей товара, а тоже — гидрой зовут. По улице нельзя пройти!..

Ей было тяжело рассуждать только с собой, и она спрашивала Шкарова:

— Разве я не сочувствовала, Алексей Матвеевич, этому самому... как его... перевороту? Разве я чему-нибудь перечила? Мое дело маленькое... Но сейчас на меня как на изверга смотрят. Вчера фабричные бабы хотели прибить. Вот сумасшедшие!.. Да я никогда и не торговала хлебом-то, у меня, кроме пуговиц, ничего и нет. Ты сам об этом знаешь... Но, кажется, ты не хочешь признавать меня, совсем отшатнулся.

— Как это отшатнулся? — спросил Шкаров.

— Ну, расходимся, что ли?..

— А разве мы когда-нибудь сходились? У вас, лавочников, свои интересы, у нас, рабочих, — свои. Ворона соколу не брат.

— Какой ты, право, несговорчивый... Так и норовишь уколоть. Как еж...

— Для кого — еж, а кому — пригож.

Алексей тушил о каблук сапога папиросу и уходил, оставив хозяйку одну. Пяткина сидела растерянная, никак не могущая понять того, что происходит вокруг нее.

Если Катя была дома, Шкаров подзывал ее к окну и говорил, показывая на сидящую хозяйку в широкой юбке со множеством оборок:

— Гляди, как луковица на гряде... а тоже ищет смысл в жизни. Зашевелились теперь они, словно клопы, ошпаренные кипятком!

5

На лестнице ткацкой фабрики, между этажами, Шкарова оставил Гриша Такось. Оглядываясь, он сказал промким шопотом:

— Алексей Матвеевич, мануфактуру увозят...

— Ну, так что из этого?

— А я, такось, думаю, что тебе не все равно.

— Да куда увозят-то?

— К хозяину... Понимаешь? На дом отвозят, в сарай.

Теперь Алексею стало все понятно.

— Ты почему знаешь — спросил он.

— Такось все знает. Один глаз глядит, а другой спит, да и то все видит. Вот как!..

— Ну, спасибо, Григорий Никитич, — молодец.

Когда Шкаров пришел к товарным складам, возле них стояло шесть подвод, две из которых были нагружены тюками мануфактуры. Чтобы не вызвало, видимо, каких-нибудь подозрений, тюки завешивались брезентом, хотя день был сухой, солнечный.

— Куда это? — спросил Шкаров одного из возчиков.

Натягивая брезент, возчик игриво и с некоторой нотой озлобления сказал:

— Хозяину... Видимо, без порток сидит, обносился.

— Много ли уже свезли?

— Третий раз приезжаем, значит — немало.

Сообщив об этом Голубеву, Алексей пошел к Титову, чтобы заставить его не только приостановить дальнейшую отправку мануфактуры, но и вернуть то, что успели уже увезти. Хозяин сидел в кабинете один и разбирал на столе гербовые бумаги. Увидев Шкарова, он выдвинул ящик стола и обеими руками смахнул бумаги в ящик, торопливо закрыв его.

— Что скажешь, дорогой? — мягко спросил Титов, словно стараясь расположить к себе беспокойного, во все вникающего председателя фабричного комитета.

— Вы почему отправляете мануфактуру... к себе на дом? Вы получили на это разрешение фабричного контроля?

Сохраняя спокойствие, Титов сунул руку под густую бороду, приподнял ее, переломил надвое и, вновь раскладывая на груди, сказал:

— Она моя, мануфактура-то, — а?

— Да, пока — ваша. Но бесчинствовать комитет не позволяет...

— Что такое?.. Бесчинствовать? — Пальцы вцепились в бороду и стали нервно тереть ее, шурша жесткими волосами. — Это что ж по-вашему: я теперь и не хозяин?

Алексею уже надоели эти вопросы: за последнее время хозяин при каждом разговоре спрашивает его об этом, словно сам начинает сомневаться в себе как в хозяине фабрики.

— Если хотите, я могу ваш поступок назвать воровством! — сказал Шкаров. — Без разрешения рабочего контроля вы не имеете права ни одного аршина взять с фабрики!

Хозяин вскипел. Когда-то большой, а теперь обвисший живот — заколыхался. Титов схватил себя за бороду и вышел из-за стола.

Как ты смеешь так говорить? — закричал он, брызгая слюной и размахивая руками, кости которых подагрически пощелкивали. — Как ты смеешь?.. А? Да я тебя!.. Я жаловаться буду! Это — насилие!.. Я на фабрике хозяин, — я, я!..

Он схватил сучковатую, отделанную серебром трость, но замахнуться не посмел, одумался.

— Пошел вон!..

Алексей до этого держал руки в карманах, хотя там не было никакого оружия, в котором он почувствовал сейчас острую необходимость. Вынув из кармана руки, словно готовясь к защите, Алексей спокойно сказал:

— Осторожнее кричите, можно голос потерять... Кричат от испуга. Я сегодня же потребую, чтобы вы объяснили рабочим фабрики, зачем вы увезли мануфактуру. Пусть они послушают. А что касается жалоб, то мы сами будем жаловаться. Не пугайте!

Хозяин положил трость на подоконник, сел в кресло и, вытирая вспотевший лоб, ядовито спросил:

— Чего вы хотите от меня?..

— Надо вернуть мануфактуру, и впредь — никогда этого не делать больше.

— Не могу вернуть.

— Не можешь, — рабочие сами возьмут, на руках унесут!

Шкаров пошел к выходу. Его догнали уже во дворе, чтобы сказать, что хозяин распорядился вернуть на фабрику товар.

— Хорошо, — сказал Алексей. — Однако передайте хозяину, что с рабочими ему придется поговорить, чтоб неповадно было в другой раз... Так и передайте ему!

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Дожидаюсь Алексея, Чигин сидел во дворе и курил махорку папиросу за папиросой. Возле ног его, полукругом, лежали мелкие плевки, точно рассыпал он горсть новых гривенников. Семен был одет в солдатскую зеленую рубаху, подпоясанную желтым солдатским же ремнем. Черные молескиновые штаны, с заплатами на коленях, были заправлены в старые истрепанные сапоги.

Шкаров не сразу заметил Семена, когда, хлопнув покосившейся калиткой, направился к двери своей квартиры.

— Ай, тебе, Алексей, не люб гость-то?.. — окрикнул его Чигин.

Алексей оглянулся, удивленно и обрадованно поднял брови.

— Прости, не заметил, — говорил он, тряся осторожно чигинскую единственную руку. — Очень хорошо, что ты зашел. Старая дружба, как вино, — крепче новой!

— Не хвастаешь?

— А зачем?..

Шкаров сел рядом с Чигиным, внимательно разглядывая его. Семен заметил это и, как бы предупреждая, сказал:

— Вот как линия-то моя обернулась, дружище: был человеком, а стал огрызком.

— Да, кривая твоя жизнь, — согласился Шкаров, — Ухаби-стая.

— Проще сказать — непутевая... А кто виноват — я сам не пойму. Люди ничего себе, живут, а я — не умею. Не ко двору я, что ли, пришелся на земле-то? Школу начальную — не кончил, месяца не дотянул. Поступил на фабрику — загулял, водкой соблазнился. Лавочники да крючники погром затеяли — и я вя-зался. А какой я им товарищ? Водкой приманили, новыми сапо-гами... Помнишь, чай, я приходил к тебе в них? После, конечно, одумался, как дурной хмель пропал, да того, что сделано, уж не вернешь. И так мне стыдно, так стало сердце больно, точно я сам себе наступил на него каблуком. И решил я уехать из города. В последнюю минуту хотел к тебе зайти, Алексей, проститься и — не мог. Ты, Алексей, хороший человек и мне тяжело было бы на тебя смотреть... Все-таки я не совсем еще растерял со-весть свою.

Да. Купил на последние гроши билет и уехал на Волгу. Думаю: буду самую черную работу исполнять, а вылечу свою душу, встречу Алексея и скажу ему: «Смотри, каков я, Семен Читин!..» Бывал я в Кинешме, Ярославле, Рыбинске, плавал вниз до самой Астрахани. Ох, и раздолье, скажу тебе, Алексей! Сколько, дружище, красот на Волге этой. Прелестно!..

Вернулся в Рыбинск и сел на якорь. Устроился на паровой мельнице смазчиком. Живу, присматриваюсь к людям, а больше — к себе. Повстречал девушку, работницу — понравилась. Такая смуглая, кругленькая и голос имеет — хорошо песни волжские пела. Уедем, бывало, на лодке, я веслами работаю, чуть взмахи-ваю, а Надя — поет. Вспоминаю вот сейчас — и плакать, Алексей, хочется, до чего это похоже на сон. Будто этого ничего и не было!..

Через год, примерно, — дочка родилась. Какая то была дочка!.. Рослая, полная, волосы легкие, колечками... А глаза боль-шие, синие, как Волга в тихую погоду. Такие глаза были и у же-ны. Ее Надей звали, жену-то. А дочку — Тоней. Какая она ве-селунья была: целый день в комнате звон стоит — она, значит, смеется.

Довольная началась у меня жизнь. Иной раз подумаю: уж я ли это, Семен Читин? Посмотрю в зеркало — точно я, а будто бы — совсем другой. Приберег несколько рублей и решил прове-дать свой родной город. Хотелось к тебе, Алексей, зайти, пови-даться — я тебя никогда не забывал! Ты, Алексей, душевный че-ловек... Я не лукавлю. Говорю, как есть... Собрался было по-ехать к тебе, только вдруг — война! Хочешь, не хочешь — иди. Приказывают.

Ну, вот. Одеди меня в шинель и — на фронт. Прощай жена,

прощай дочка... Расцеловались, поплакали да и в окопы. Однако в окопах пробыл недолго. Поспешила война поиграть со мной и покусала руки. Вот какая неудача вышла!.. После этого полгода ваялась по лазаретам. Выдали серебряный крестик, велели носить на груди. Вроде как за выслугу царю... Только сам я понял по-своему: это они заплатили мне за руки. Дешево заплатили!..

Понятно, ругался, требовал чего-то, но все так и прошло стороной. Делать нечего, кроме угроз, ничего не обещают. Выхлопотал дорожный билет и поехал в Рыбинск домой. Вернулся, стучу в дверь, а мне и говорят: нет их, то есть ни жены, ни дочери. Я туда, сюда — нет. Говорят: куда-то уехали. Стою на улице, толкают меня со всех сторон, какая-то старушка протянула милостыню, я все никак не приду в себя. Неужели, думаю, опять один? И такое меня зло покорило. Сам не в себе! А сделать ничего не могу. Впрочем, я и не знал, что надо было делать.

Иду на мельницу, прошусь на работу — не берут. «Куда тебя, говорят, здоровых-то девать сейчас некуда!» Значит, снова задний ход? Этого не может быть! Требую допустить к хозяину: «Мне, говорю, с ним надо лично поговорить». Сторож не пускает. Не стерпел я и ткнул сторожу локтем в рыло. Меня — в участок... Просидел ночь — выпустили. А ретивое — подмывает, не дает покоя. Тогда я решил пойти к дому хозяина. Думаю: сутки прожду, — добьюсь, увижу его. Он поймет меня, примет на работу.

Надо сказать — шикарный у него дом, большой, с колоннами, по улице решеткой обнесен, а за решеткой — сделаны клумбы, цветы растут. Все чисто, хорошо... Пришел рано утром, встал у ворот и жду — стерегу. Ждал недолго. Смотрю — идет. Он такой невзрачный на вид, маленький, худощавый и все глядит себе под ноги, словно чего-то ищет, хотя богачей в Рыбинске был первейший.

Я, конечно, к нему:

— Поликарп Ефимыч, помогите. За царя и отечество кровь проливал. Руки лишился...

Он глядит на меня и пятится, пятится, как от зверя или прокаженного. А я — наступаю:

— Помогите, сколько можете, не оставьте без внимания.

— Ладно, я сейчас вышлю.

— Что ж, — говорю, — подождать можно, это не в окопах лежать.

Прошло не больше минуты и слышу — бегут. Взглянул через решетку — дворник, а с ним еще кто-то.

— Тебе чего надо? — закричали на меня. — Пошел отсюда вон!

А я в достоинстве стою. Думаю: подумаешь чин какой — дворник. Мы и генералов ругивали...

— Я хозяина жду. Отзынь!..

Они схватили меня и давай накладывать взащей по седьмую пятницу. Вижу — разговор плохой душу могут вытрясти. Начал отбиваться, как мог. Рассвирепел. Зубами хватаю... чем же больше-то?

Как мне горько было в ту минуту, Алексей! Опять во мне звериное чувство проснулось. Но поделаться ничего не могу. Будто связали меня. Хотел стекла побить в хозяйском доме — и то не смог. Швырнул камень... но разве такой рукой докинешь?

Чигин показал Алексею руку, указательный палец на ней был без верхнего сустава, средний — как бы слепка надкусан: вместо ногтя — розовый, неровный узел. На тыловой стороне ладони — несколько мелких швов.

— После этого решил я поехать в свой город. Все-таки роднее он. Приехал, а не знаю — что делать? Хожу по улице, заткнув пустой рукав за пояс. А на груди — крестик серебряный болтается. Кто — хлеба кусок подаст, а кто матерно выругает. Все хорошо. Дескать, не суйся в пекло, не теряй своих рук!..

Однажды подошли ко мне две хорошо одетые полные дамочки. Остановили и спрашивают:

— Ты солдатик?..

— Так точно, — говорю, — мадам! Чем, — говорю, — могу служить?

Я говорю дерзко, чтобы посмеяться над ними, а мадамы принимают всерьез. Одна из них спрашивает:

— У тебя имеется семья?

— Нет, — говорю, — как птица!..

— Пойдемте с нами.

«Что, думаю, за честь?» Однако пошел.

Привели меня эти мадамы в какое-то благотворительное общество. Накормили, ночлег отвели под лестницей. Я все молчу. Интересуюсь, что будет дальше... На утро облепили грудь мою полотняными ромашками, повесили дощечку — «Жертвуйте христоролюбивым воинам» — и повели по улицам города. Так и ходил я, как дурак, до самой осени, целый луг на себе таскал. Потом не вытерпел, тошно стало. Какая-то получается комедия.

— Пошли, — говорю им, — к такой-то матери!..

Оборвал с шинели все ромашки и — ушел. Народ жизнь теряет на войне, семьи лишается, а им — забава, этим буржуазным мадамам. Ушел, да так вот и бьюсь теперь... Как рыба подо льдом.

— Чего же ты сейчас делаешь? — спросил его Алексей.

— Магазины стерегу... Веселая работа! Очереди — на полверсту, круглую ночь сидит народ. Получается — не один я караулю магазин-то!..

— А дальше что думаешь делать?

Чигин задумался, как бы ища ответа. Потом сказал:

— Не знаю... Умирать от своей руки — стыдно, а законная

не приходит. — Помолчав, он договорил: — Коль пришла бы — я доволен был. Откровенно говорю тебе, Алексей... Без рук-то что за жизнь? А?

Шкаров покачал головой:

— Вон какая у тебя, Семен, философия-то!.. О смерти заговорил. Эх, ты — вояка! Рабочие за новую жизнь борются, а ты... Ну, и удивил. Когда я слышал тебя на митинге, думал: открыла война человеку глаза.

— Брось ты меня стыдить, Алексей. Чего не понимаю — подсказки, может быть, пойму. А ты все одну ведешь линию?..

— Одну.

— Крепок ты... Вот за это я и люблю тебя! Все тебе ясно, все у тебя стоит на месте.

Чигин встал.

— Мне надо идти, пора на дежурство...

Алексей обнял его за плечи.

— Коли что сказал обидного — не сердчай, Семен. Время такое, что нельзя пускать елей. Кто мешает народу бороться за свою счастливую жизнь, того надо бить и в хвост и в гриву... Ты сам видел, как в цирке пел Щеглянский.

— Я ничего не понимаю в этом, — сказал откровенно Чигин.

— А сам выступил... Громил их.

— Терпенье лопнуло. Пусть не болтают.

— Во-от... Если ты против войны, значит, против — и фабрикантов, меньшевиков и всех прочих, кто обслуживает буржуазию.

— Хватит пока, — с каким-то детским простосердечием сказал Семен. — Дай мне подумать...

— Время-то имеется, подумай на досуге. А меня тоже не забывай, заходи... Все-таки мы — друзья детства, Семен.

— Коли необременительно — зайду, непременно зайду. Кроме тебя, Алексей, у меня теперь никого нет!..

## 2

Городской комитет большевистской партии временно помещался в доме общества трезвости, никому ненужного и забытого общества. Дом был сложен из красного кирпича, наподобие коробки, без каких бы-то ни было забот о красоте. В нем все было квадратное: и двери, и окна... Даже рамы были так устроены, что они делили окна на четыре равных части. Казалось, что этот дом построил какой-то сумасбродный геометр.

Шкаров с Голубевым поднялись во второй этаж. В полутемных и тоже квадратных, с низкими потолками, комнатах было много народа, одетого просто, по-рабочему. В комнатах стоял шум, слышимый в коридоре. Жужжали ручки телефонных аппаратов, постукивала пишущая машинка. Кто-то громко спрашивал:

— Почему согласились? Какое вы имели право на это, если рабочие не давали вам согласия?..

Возле двери одной комнаты стояли двое часовых с винтовками, приставленными к ногам. Часовые были одеты в штатские куртки, низко подпоясанные широкими кожаными ремнями. Алексей подумал, что за дверью хранилось оружие.

Ивлев, председатель городского комитета, куда-то собирался уходить, когда вошли к нему Шкаров с Голубевым. Он стоял одетым в сильно потертое осеннее пальто, закуривая папиросу.

— Не во-время зашли?.. — спросил Захар.

— Почему? — не отвечая, в свою очередь спросил Ивлев.

— Ты — уходишь.

— Это ничего, могу задержаться, если нужно. — Он поздоровался, сказал: — С какими новостями?

— Пришли к тебе за советом, товарищ Ивлев, — заявил Алексей. — Положение все обостряется... Хозяин бесчинствует. Вчера фабрику закрыл, сегодня мануфактуру отправляет на дом, а завтра может еще что-нибудь придумать, более серьезное. Рабочие возмущаются, а руки-то пустые... Случится что — нечем ответить. Хотим организовать отряд Красной гвардии.

— Давно пора бы, хорошее дело.

— Сомневаемся об оружии, — подсказал Голубев. — Не поможет ли нам городской комитет?

— Обязательно поможет. Десяток винтовок можем отпустить, пяток наганов.

— С патронами? — спросил Шкаров.

— Конечно... Сзовите людей, объясните, что организуется отряд самообороны, запишите желающих...

— А если много будет желающих? — перебил его Шкаров.

— Чем больше, тем лучше...

— Так оружия-то нехватит всем!

— Ничего, со временем добудем для всех. Конечно, запишите с разбором. К отряду могут примазаться враждебные люди, всякая шваль. Ее гнать надо подальше!..

— Это понятно, — сказал Шкаров.

— Главная наша задача сейчас — подымать народ, который доведен до отчаяния! Мирный период революции кончился, а наступил период открытой вооруженной борьбы... Об этом очень хорошо сказал на съезде партии товарищ Сталин. Обуздать капиталистов, взять в свои руки власть рабочие могут только с оружием в руках. Одними разговорами — ничего, конечно, не сделаешь!

Они вышли все трое на улицу. Накрапывал мелкий дождь, похожий на изморозь. Дул ветер, качая деревья. Наступала ранняя осень.

Дорогой Ивлев сказал:

— Кажется, скоро начнем большую стачку... Всем округом.



Другого нет выхода. Поэтому и надо, чтоб вам не наступали рабочие на пятки... Понимаете? Нельзя отставать!..

Пожав им руки, Ивлев пообещал:

— Может быть, я завтра побываю у вас на фабрике, послушаю, о чем народ говорит.

Он поднял бархатный воротник пальто и пошел вдоль улицы легкими, быстрыми шагами.

3

Рано утром, когда Шкаров еще спал, за полночь вернувшись из городского Совета, в окно сильно постучали. Катя подошла к постели и некоторое время не решалась будить Алексея. Он лежал на спине, подложив руки под голову, чуть отклоненную набок. Мягкие волосы были сваляны, падали на лоб. Рот полуоткрыт, и розовые теплые губы шевелились от глубокого и сильного дыхания.

Стук повторился еще громче. Катя растолкала Алексея, сказав, что к нему пришли с фабрики, а сама вновь ушла в кухню. Обессиленный ото сна, Алексей поднялся на локоть, не сразу поняв, зачем его разбудили. Первое, что отметило сознание, — на улице шел дождь. Его не было видно сквозь оконные занавески, но звук падающих капель, журчание в сточной трубе были отчетливо слышны в комнате сквозь одинарные рамы.

— Ты не спишь? — напомнила Катя.

— Нет, нет...

Шкаров сбросил одеяло с себя, а вместе с ним как бы и сон, накинул на плечи пальто и, прыгая через лужи, вышел к воротам.

— Кто здесь? — крикнул он.

— Это мы, Алексей... Прямо с фабрики.

По голосу Алексей узнал Ивана Логинова.

— Почему так рано? Что-нибудь случилось? — говорил Шкаров, открывая калитку.

— Опять хозяин фабрику остановил, — сказал Иван и сделал такое движение рукой, словно запирал замок. — Наглухо!..

— Вот подлец, — выругался Алексей. — Неужели ему кто передал, что готовится стачка?

— Да, подловил хитро. В воскресный день закрыл, когда на фабрике нет рабочих.

Идя на фабрику, Шкаров думал, кто же мог передать хозяину, что городской Совет, возглавляемый теперь большевиками, поддержал требование фабричных комитетов — начать общегородскую стачку. И вдруг возникло простое, но ясное и небезосновательное предположение: а что если Титов, желая предупредить начало стачки, боясь неизвестного исхода ее, захотел повторить то, что не удалось ему сделать в первый раз: пользуясь воскресеньем, нерабочим днем, он вывез с фабрики всю мануфактуру, опустошил

кассу до последней копейки и закрыл фабрику. Это показалось Алексею до того определенным и вероятным, что другие мысли, считая их только успокаивающими, — решительно подавлял в себе. Революционные события в стране, особенно в Петрограде и Москве, заставляли владельцев текстильных фабрик итти буквально на все, чтобы только смять нарастание пролетарской социалистической революции. Торопясь и размышляя, Шкаров пришел к выводу, что теперь за фабрикантами нужно очень внимательно смотреть, оберегая фабричное добро, созданное руками рабочих.

Около ворот фабрики Алексея встретил Голубев. Не здороваясь, точно продолжая минуту назад начатый разговор, Захар сказал:

— Какие штучки выкидывает наш тихоня-то!.. Мягко стелет, а — жестко спать!

Находящийся тут же среди рабочих Приша Такось начал выбивать на проходной двери солдатскую барабанную дробь. Он колотил в нее до тех пор, пока не показалась голова сторожа.

— Ну-ка, Власыч, отопри, — сказал подошедший Алексей.

— Не велено, хороший мой, — спокойно ответил сторож.

— Ты что ж: хозяйскую руку держишь?..

— Какую такую руку? — спросил удивленно сторож. — Хозяина тут нет, а вам чего делать одним-то?..

— Да чего с ним разговаривать?.. — крикнул кто-то. — Взломать дверь и вся недолга!.. Или через ворота махнуть. Не век же над нами издеваться. Хватит! Мы тоже — люди!..

Голубев остановил:

— Ломать не надо... Пригодится. — И крикнул, взбираясь на тумбу: — Товарищи! Я предлагаю отправить депутацию к хозяину и потребовать от него пуска фабрики. Если же Титов не согласится, то заявить ему, что мы сами пустим... Силой возьмем!

Несколько минут было тихо. Рабочие как бы взвешивали, осмысливали это смелое предложение Захара Голубева. Потом стали раздаваться отдельные замечания, выкрики:

— Жить с оглядкой — не пить чай внакладку. Правильно высказал Голубев. Послать к хозяину людей!

— А если солдаты придут?

— Милости просим... Они помогут нам.

В это время из-за поворота улицы показалась легкая с кожаным верхом пролетка. Большая, промоздкая, ёкающая селезенкой лошадь машистыми шагами приближалась к толпе рабочих, плотно сгрудившихся около фабричных ворот. Услышав цокот тяжелых подков, люди оглянулись. И, как ветер в сухой траве, — прошел шепот:

— Хозяин!..

Опираясь на палку, Титов сошел с пролетки и молча, будто бы никого не замечая, пошел к проходной будке. За ним также

молча двинулись Голубев, Шкаров и другие. Перед самой дверью хозяин остановился и спросил:

— Что вам надо от меня?

— Вы должны пустить фабрику. Вы не имеете права оставлять на улице людей, — заговорил торопливо Шкаров.

— А если я завтра сожгу фабрику?.. Фабрика-то моя!

— Рабочие не позволят вам этого сделать. Не позволят! Если вы отказываетесь руководить фабрикой, рабочие сами сделают это...

— Попробуйте.

— Когда нужно будет — попробуем!

Титов прошел в открытую сторожем дверь, за ним последовали Голубев, Шкаров, за которыми, в свою очередь, как нитка за иголкой, протискивались напиравшие с улицы рабочие.

До сих пор казалось, что на фабрике никого нет, она пуста. Но ворвавшись во двор, осмотревшись, рабочие увидели, что служащие конторы были на своих местах. Как и обычно, они скрипели перьями, щелкали на больших с медными прутьями счетах... Канцелярская машина двигалась полным ходом: составлялся баланс, подсчитывались прибыли.

Эта неожиданность так взволновала рабочих, так распалила их гнев, что они готовы были ворваться в контору и силой выбросить службистов, обманным и подлым образом пробравшихся на фабрику в то самое время, когда рабочих не пускали, заявляя, что на фабрике никого нет, что она закрыта.

Пойманный с поличным хозяин не стал долго упорствовать: фабрика вскоре была пущена.

Это событие лишний раз показало, что хозяин фабрики всеми ухищрениями старается утихомирить рабочих, напугать страшным призраком голода, смять их революционный дух. И в то же время это событие убедило рабочих в том, что Титов потерял былую силу, он смел, когда сила рабочих не организована, раздроблена, и ядовито труслив и уступчив, если рабочие действуют смело, решительно, сообща.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Когда совещание фабричного комитета закончилось, Алексей достал из ящика стола наган и шуточно сказал:

— Ну, пойдемте прощаться с хозяином...

Они все, человек двадцать пять, вошли к нему в кабинет. Шкаров прикрыл дверь.

Титов боязливо оглядел вошедших, поиграл бородой и неожиданно протянул руку:

— Здравствуйте, товарищи.

Но это приветствие в устах Титова прозвучало как насмешка. Поэтому вошедшие ничего не ответили. Хозяин сразу уловил, что случилось что-то неладное. Хитрые глаза его спрятались за веки, украдкой смотрели на всех, стараясь понять, в чем дело, что случилось, зачем пришли к нему в кабинет сразу двадцать пять человек, — весь фабричный комитет?

— Вам надо уходить, — сказал Алексей.

— Как это уходить? Куда? — схватив себя за бороду и выходя из-за стола, спросил Титов.

Шкаров прошел за стол, на хозяйское место.

— Мы начинаем стачку... весь город начинает, на всех фабриках. Наши требования вы отказались принять. Сдайте нам ключи от кассы, от ящиков...

Хозяина точно ударили по голове. На несколько минут он как бы потерял способность что-либо соображать. Старческое лицо его побледнело, стало нервно подергиваться. Нижняя губа отвисла, нехорошо исказив рот.

— Я не отдам ключи! — закричал Титов, кидаясь к столу и толкая Алексея. — Это — грабеж!..

Голубев спокойно заметил:

— Вы нас грабили всю жизнь — и это ничего, это вам нравилось. А тут — сразу в крик. Хотя вам ничто не угрожает, ваша касса будет в сохранности. Не беспокойтесь!

Но у фабриканта все же хватило дальноворкости, чтобы не поверить в то, что ему придется долго еще заниматься делом эксплуатации. Он чувствовал, что приходит ему конец, что бы ни говорили, что бы ни сулили. Думал об этом и Захар, понимая, что стачка была началом борьбы за власть, за советскую Россию.

— Я не отдам ключи! — упорствовал хозяин.

Алексей вынул наган.

— Довольно разговаривать! Если не отдадите, мы сейчас вызовем красногвардейцев.

Это внушительно подействовало на Титова. Он позвал управляющего, главного бухгалтера, кассира, приказал им принести ключи от несгораемых ящиков, шкафов с деловыми книгами, отдал свои личные — от кабинета, стола, дубовой конторки, стоявшей в углу кабинета и почему-то отгороженной ширмой из цветной соломки. Хозяин чувствовал себя как бы раздетым, совсем беспомощным и жалким. Но в то же время он был похож на зверя, раненого и пойманного, готового в любую минуту кинуться и смертельно укусить.

— Только уж ничего не ломайте, ребята, — сказал Титов, одеваясь.

— У ворот лошадь, — сказал Голубев, — дожидается вас.

Хозяин молчаливо оделся и ушел, сопровождаемый до ворот членами фабричного комитета. Шкаров и Голубев смотрели в ок-

но, как он сел в пролетку, поднял воротник пальто, не делая ни одного знака извозчику. Ему, кажется, было все равно: повезут ли куда или нет... Сыпался мелкий дождь. Извозчик посмотрел на хозяина, поднял кожаный верх пролетки и забрал вожжи. Нагнувшись, он что-то спросил, Титов безразлично махнул рукой. Извозчик сильно натянул вожжи, лошадь присела немного на задние ноги, а потом, дважды перебрав тонкими передними ногами, пошла сразу иноходью.

— Посмотреть не на что, — сказал Шкаров, — вся его сила-то осталась в кассах. Недаром говорит пословица: кто богат — тот и силен!

— А мы попробуем не вернуть ему эту силу-то, — подсказал Голубев.

Потом они сошли вниз и объявили конторщикам, что начинается всеобщая стачка и они должны покинуть помещение. Алексей предполагал, что служащие поднимут скандал, не подчинятся и останутся на своих стульях. Но они словно ждали этого: обрадованно и торопливо начали складывать в ящики столов бумаги, толстые книги, счета и, прощаясь, уходили.

В присутствии всех членов фабричного комитета Шкаров и Голубев опечатали кассу, некоторые комнаты, сложив в них что казалось наиболее ценным. Около кассы и дверей поставили охрану.

— Без пропуска фабричного комитета — никого не пускать! — предупредил Алексей. — Кто бы ни шел — все равно не пускать!

## 2

Прошло два дня. Фабрика замерла окончательно. Последними ушли паковщики. Станки и машины остались «раздетыми»: все было доработано, все прибрано, заботливо подметено, как дома. Шкаров обходил этажи, отделы и всюду отмечал невиданный даже при хозяине порядок. И это было сделано не только в порядке приказа, не только потому, что фабричный комитет обязал так сделать, но и потому, что сами рабочие за последние месяцы изменились, они почувствовали в себе силу и уверенность. Ход событий в Петрограде, Москве, на фронте, в своем небольшом городе заставил отказаться многих рабочих от какой-то робости, воспитанной веками, которая мешала им чувствовать свое превосходство, могучую силу, право жить свободно. Алексей думал об этом, и сердце его наполнялось радостью и надеждой, что желаемое станет действительностью — рабочие сами будут хозяевами...

Однако, чтобы избежать каких-либо неожиданностей, случайностей, — вход на фабрику на все время стачки был комитетом

запрещен. У ворот, у складов, у главных дверей фабрики были расставлены посты. Караул несли красногвардейцы, вооруженные наганами и винтовками. Они дежурили, сменяясь, каждые сутки. Пройти на фабрику можно было только с пропуском комитета и то лишь в определенное время.

Проходя по двору, Шкаров услышал, как его кто-то окликнул. Он оглянулся. Около входа в ткацкую фабрику под самодельным толевым навесом стоял Гриша Такось. Почти не шевелясь, он широко и счастливо улыбался всем подвижным лицом. Алексей подошел к нему.

— Тоже, значит, доверили?..

Гриша не сдержался, подмигнул:

— Как видишь!

— Очень хорошо... Григорий Никитич.

— Рад стараться, Алексей Матвееч, — шутя и все еще улыбаясь, весело отрапортовал Такось. А потом, посерьезнев, сказал: — В люди вышел... Ты помог!

Шкаров отмахнулся:

— Какой уж я воспитатель.

— Умный, а — лукавишь... Мне, чай, видней, — настаивал Гриша.

Чтобы прервать этот неловкий для себя разговор, Алексей сказал:

— А в карауле-то нельзя, кажется, разговаривать?

— Ничего, с тобой можно, ты — хозяин.

Выйдя на улицу, Шкаров задержался на минуту, соображая, куда ему идти. Был тихий ранний вечер. Легкие сумерки опускались на город. Высокое небо, на котором едва просвечивали бледные первые звезды, было по-весеннему ясным. Холодало. Колько пощипывало кончики ушей. Это напоминало о том, что где-то уже недалеко бродит зима.

Решил заглянуть в клуб. Там по вечерам устраивали бесплатное кино, доклады... Не работая, большинство фабричных проводило там свой досуг. Тем более, что в клубе ежедневно сообщали о ходе стачки, о результатах переговоров с хозяевами. Там же разрешался насущный и всех беспокоивший вопрос дня — о снабжении рабочих продовольствием. Если весной и летом управа хоть в какой-то мере старалась обеспечить нормированную выдачу хлеба населению города, то сейчас она не только не хотела уже заботиться о доставке продуктов, но исподтишка противилась даже этому. Поступающие на станцию муку, сахар, крупу нарочито переадресовывала, отправляя в неизвестность. А Временное правительством молчаливо потакала этому бесстыдному поведению продовольственной управы. Жалобы не помогали, на телеграммы не отвечали. И простое слово «хлеб» стало таким близким, вещественным, что приобрело трагический смысл. О нем помнили, начиная и кончая день.

Когда Алексей вошел в клуб, там было еще немного народа. Он прошел в библиотеку, чтобы узнать, разобраны ли книги, недавно купленные комитетом у вдовы литератора-книголюбца. Заодно повидаться с Чигиным, которого он пристроил, по настойчивой просьбе самого Чигина, к клубу. Семен выполнял здесь и должность ночного сторожа, и уборщика, и посыльного — словом, он делал все, на что он был способен с одной рукой.

Шкаров не сразу заметил Чигина. Тот сидел в углу на широком кожаном кресле на трех ножках; четвертую ножку заменяла простая доска, ради крепости пропущенная до самого подлокотника. На ногах у Семена лежала раскрытая книга. Склонив голову набок и вода по строчкам всеми пальцами, он читал ее громким шопотом. Алексей долго и с любопытством глядел на Чигина, на лице которого играла улыбка ребенка, впервые открывшего притягательную силу книг. Что-то детское было и в манере водить по строчкам пальцами, выровненными в одну линию.

— Осторожней читай — буквы слиняют, — шутливо крикнул Алексей.

Чигин поднял голову и, не моргая, смотрел на Шкарова, словно не мог узнать его. Потом заложил книгу тонким гвоздиком, шляпкой наружу, подошел к Алексею и, все еще глядя на него застывшими, безучастными глазами, негромко, будто продолжая читать, сказал:

— Ах, занятная, брат, штука!.. Ровно как с человеком беседуешь. Интересу — на всю, кажется, жизнь! Оторваться нельзя... Как будто клещами схватила, книга-то!

— Очень хорошо, — сказал Алексей, — Привыкай, здесь книг много, — всему научишься.

— Он уже научился, — вмешался в разговор заведующий библиотекой.

Семен поглядел на библиотекаря и повелительно сказал:

— Ну, расскажи ему, — ты всем рассказываешь!..

— Почему же я?.. — спросил библиотекарь, невольно чему-то улыбаясь и поглядывая то на Шкарова, то на Чигина. Но как бы опасаясь, что его могут опередить, стал рассказывать то, о чем просил его Чигин.

Оказывается, купленные у вдовы покойного литератора книги были привезены и сложены кое-как, на полу. Сразу же разобрать их было некому, и они лежали так несколько дней. Однажды ночью Семену, жившему при клубе, рядом с библиотекой, не спалось. Чтобы заняться хоть чем-нибудь, он решил разобрать привезенные книги. Всю ночь расставлял. Окрыленный надеждой, что библиотекарь будет очень доволен его стараниями, он, кстати, переставил сообразно своим понятиям и все остальные книги.

Измученный, но счастливый, Чигин только перед рассветом ушел в свою комнату и заснул крепким сном человека, сделавшего большое дело. Но когда он встал и зашел в библиотеку,

протирая заспанные глаза, библиотекарь неожиданно закричал на него, как на преступника:

— Что же ты сделал?.. А?

Чигин долго не мог понять: шутит с ним заведующий или говорит серьезно. И надеясь, что библиотекарь шутит, он сказал:

— Вот порядочек навел: хоть линейку прикладывай!.. Как одна! По ранжиру...

— Удивил! — кричал библиотекарь. — По ранжиру!.. Это — книги, а не солдаты, дорогой мой! Там-то крикнешь: Иванов — он и ответит. А ведь книга-то не откликнется!.. Книги-то читают не по ранжиру!

Чигин стоял перед ним растерянный, виноватый, не зная, что сказать, что ответить.

— Услужил, значит?

— Услужил... по-медвежь!

Когда об этом библиотекарь передал Шкарову, Алексей спросил Чигина:

— А теперь освоился?

— Не знаю... спроси у него, — Семен кивнул головой в сторону заведующего.

— Да, теперь он понял, что солдаты и книги — не одно и то же, — смеясь, ответил заведующий.

### 3

Вечер был удивительно тепел, словно в августе месяце. После нудных, бесконечных дождей, после заморозков, предвещавших начало зимы, как бы опять возвращалось лето, возвращались большие и теплые дни, когда жизнь кажется легче и не так ощутима горечь души. За день солнце хорошо нагрело мостовые, каменные стены домов. Алексей сидел у окна и глядел, как незаметно бледнели краски далекого заката, как постепенно сгушалась темнота вечера.

Днем Алексей заходил в стачечный комитет, справлялся, что слышно из Москвы. После того как Совет рабочих депутатов наложил на фабрикантов контрибуцию в несколько миллионов рублей, — многие из них уехали в Москву, чтобы там, вдали от гневных рабочих глаз, под опекой своего правительства, разрешать вопрос об улаживании конфликта между ними и рабочими, не желающими встать к станкам на прежних, кабальных условиях.

Сначала, после отъезда хозяев, стачечный комитет выделил комиссию для переговоров. Но когда выяснилось, что фабриканты и в Москве ведут себя так же, как и в своем городе, — не отказываясь и не удовлетворяя требований, на что-то надеясь и стараясь затянуть переговоры, — тогда стачечный комитет, под держанный Советом, предъявил ультиматум: если в течение трех дней не будут подписаны хозяевами требования, то стачечный



комитет явочным порядком отдает распоряжение фабричным комитетам о пуске фабрик.

Сегодня шел первый день вступившего в силу ультиматума. В комнате, где помещался стачечный комитет, весь день толпилось много народа. Весть о том, что с часу на час может прибыть извещение от фабрикантов, привлекла в комитет даже тех, кто там ни разу не был за все дни забастовки. Толкаемый со всех сторон, Алексей чувствовал себя как-то особенно хорошо. Его немного скуластое, гладкое лицо было освещено радостным взглядом серых глаз. Он, пожалуй, и сам бы не смог ответить прямо, что его сейчас особенно радовало.

Кто-то из рабочих сказал:

— Хорошо бы не ответили наши толстосумы... в рот им дышло. Мы сами бы распорядились фабриками-то!

Другой, видимо более решительный, возразил ему:

— Ждать-пождать, как в прятки играть... По-моему, надо взять фабрики, а потом уже и рацеи разводить. А лучше совсем не разговаривать: был хозяин, а теперь поди к чорту... нужники чистить!

— Этого нельзя сделать — фабрики-то отобрать, — вмешался в разговор Алексей.

— Почему?.. — удивленно спросил рабочий, словно отобрание фабрик было для него привычным, само собой разумеющимся, делом.

— Как почему? А власть не разрешит... Она за фабрикантов.

— Эх удивил: значит, надо власть изменить, чтоб за рабочих была.

Вслушиваясь в этот разговор, Шкаров был поражен верностью мыслей. И какая вера в свои силы!.. Если нельзя добиться от фабрикантов уступок, то надо взять фабрики в свои руки, а если этому помешает власть, — надо ее спихнуть, заменив своей, рабочей властью.

Алексей пробыл в стачечном комитете около трех часов, но известия так и не дождался. Ушел на фабрику, проверил, все ли в порядке, навестил некоторых рабочих, поинтересовался, как они себя чувствуют. Но домой вернулся все-таки рано, еще до сумерек. Жены не было. Катя приходила теперь обычно поздно. Она хлопотала все свободное время в детских общественных столовых. Алексей сидел и просматривал центральные газеты, пока не стало темно. Но зажигать огня ему не хотелось. Поэтому, облокотившись на подоконник, он долго смотрел, как медленно угасал чистый закат, как, затушевывая краски его, спускался вечер золотого дня поздней осени. Свободных минут, когда можно подумать наедине, было очень немного, и Алексею было приятно сидеть и вспоминать слышанные им за день разговоры, возвращать возникшие мысли.

Пришла Катя. Она вошла в комнату свободно, как человек,

хорошо знающий в доме все предметы. Кажется, она могла бы ходить по комнате, плотно закрыв глаза.

— Почему в темноте?.. Керосин-то есть, — сказала Катя и стала зажигать лампу.

Алексей подошел к ней и, останавливая перед собой лицо ее, внимательно посмотрел. Жена заметно похудела. Скулы обтянулись, нос еще больше заострился. Глаза стали больше, хотя мягкий и ласковый свет их был попрежнему ясный, взгляд задумчивый и глубокий.

Алексей посадил ее на стул и, погладив темные, гладкие волосы, сказал:

— Устала?..

Катя, подняв чуть голову, посмотрела на него.

— Я?.. Нет. Почему я устала?

— Ну, как же: по глазам вижу.

В это время вошла Матрена с Витей. Он спал у нее на руках, раскинувшись, как в постели.

— Умаялся, — сказала она, передавая мальчика подошедшей и весело улыбающейся Кате, которая расцеловала сына, затем осторожно раздела, как это умеют делать лишь одни матери, и уложила его в постель.

#### 4

Алексей проснулся глубокой ночью. Оторвавшаяся водосточная труба, раскачиваемая сильным ветром, с прохотом билась с стену дома. Звуки были глухие, короткие, как далекие пушечные выстрелы. Через одинарные, по-летнему, рамы слышно было, как хлестал сильный дождь. Прислушиваясь к звукам полуночной непогоды, Алексею казалось, что дом, слегка покачиваясь, как тяжелая баржа, погоняемая косым холодным ветром, плывет под дождем. Брызги воды ударялись в стекла, словно кто-то заплутавший шарил ладонями, не имея сил или смелости постучаться.

Шкаров сидел в постели и, касаясь холодного пола пальцами босых ног, старался понять, чем он озабочен. Душа его была наполнена смутными чувствами, которые не могли высечь ни юдной ясной мысли. Только минутами позже Алексей догадался, что, не сознавая того, он думал о фабрике, людях, охраняющих ее. Как они там? Не уснули бы, доверившись такой непогоде...

Стараясь как можно тише вести себя, чтобы не потревожить сон жены и сына, Алексей оделся и вышел. На улице была крошечная темнота, — ни одного огонька. Город казался пустым и вымершим. Ничего не видя, Алексей шагал наугад, прямо по лужам. С картуза падала вода, стекая за ворот. Он ежилась, убирал глубже в плечи голову, но избавиться от дождя, перемешанного со снегом, было невозможно. К фабрике прибежал насквозь промокший. Каблуком сапога постучал в железные ворота.

— Кто там? — быстро отозвался голос.

— Это я... Шкаров.

— Ну, и забота: не спится тебе, — говорил Иван Логинов, открывая ворота.

— В гости зашел... Дай, думаю, погляжу.

— ... Не спят ли они? Так? — спросил Иван.

— Не могу лукавить, была такая мысль... — ответил Шкаров, когда они вошли в большую и пустынную комнату, расположенную внизу главной конторы фабрики.

Посреди комнаты, на столе, возвышался огромный никелевый самовар, способный напоить не менее сотни людей. Возле стола сидело трое. Носков чистил разобранный наган. Каргуз у него съехал на затылок и на высоком гладком лбу блестели капли пота. Изредка, между делом, он отхлебывал из стакана чай рыжего цвета. Исайкин, худощавый и длинный, с тощей бородачкой на лице, развалился на стуле, что-то рассказывал, смеясь и размахивая полусуженными руками. Третий сидел против него. Облокотившись на стол и держа блюдо всеми десятью пальцами, он крупными глотками отхлебывал чай, внимательно глядя на рассказчика светлыми, как оловянные пуговицы, глазами.

— Исайкин все еще врет?.. — спросил, усмехнувшись, Логинов.

Исайкин оглянулся и, увидев Шкарова, не ответил. Он протянул Алексею свою длинную руку, не вставая со стула, и предложил:

— На, вот, поддержи, Матвейч.

Шкаров поздоровался, расспросил, как идет дежурство, все ли тихо, — и сел к столу. Исайкин налил ему в стакан чаю и придвинул на бумажке мелко наколотый сахар.

— Отопревайся, — посоветовал он. — Чай — это первоющее лекарство от дождя. Встарину, говорят, чаем людей оживляли.

— Только от оживленных дети непутевые рожатся — вроде Исайкина, — сказал насмешливо человек с оловянными глазами.

— Не задирайся, можешь оступиться!

Когда все расселись, Логинов напомнил Исайкину:

— Ну, продолжай... Алексей тоже послушает.

Исайкин поправился на стуле.

— Да-а... Прихожу, значит, к невесте. — Но еще не сказав ничего смешного, он громко рассмеялся. Светлоглазый тоже улыбнулся, но, кажется, только ради участия. — Прихожу, значит... Со мной товарищ был, мать и сваха...

Иван шепнул Шкарову:

— О женитьбе своей рассказывает... С вечера еще начал.

— Раздеваемся. Встречают нас почетно, уважительно. На мне, конечно, все чужое. Знакомые одолжили, чтоб лицом показаться невесте и родителям. Невеста была не из простых, с деньгами, и приданое у нее обширное было. Отец ее портновскую мастерскую имел. Ну, и хотел я удочку закинуть. Думаю, может клюнет!..

— Лениво ты рассказываешь, — заметил Носков, — как червь дерево точит.

— Сам переживал, потому скоро-то и не передашь, — с легким сердцем и невозмутимо ответил Исайкин. — Подводят меня к невесте: «Поздоровайтесь», — говорят. А у меня рука-то и не подымается. Пиджак надели как с пятилетнего мальчика: ни шевельнуться, ни вздохнуть хорошенько... Что делать? Повернулся тогда боком, согнул в локте руку и протянул ее. Так и поздоровались. Невеста смеется, а мне — страшно. А тут еще другой конфуз: я никогда до этих пор не нашивал крахмальных воротничков, а тут надели. Все горло мне сдавило. Защемило в носу, чхнул я, — воротничек-то и треснул. Концы его торчком поднялись, к ушам... Тут уж все засмеялись! Делать нечего — так и убежал... даже не одемшись.

— Выходит: не получил приданое-то? — спросил Шкаров.

Исайкин не успел ответить. В раму окна кто-то постучал. Ефим вскочил, с треском отодвинув стул, и кинулся к двери. Шкаров остановил его:

— Прихвати-ка винтовку!

— У меня полегче, — показал он Алексею наган.

Носков вернулся со двора с Голубевым. Захар был в каком-то необычайном возбуждении. Переведя дыхание, он крикнул:

— С новой жизнью, товарищи!

— Из Петрограда что-нибудь?.. — спросил Алексей, глядя на Голубева ожидающим взглядом.

— Да, сейчас получена телеграмма, что власть в Петрограде перешла в руки Советов!

Окружив Голубева, некоторое время все стояли молча, пораженные этим сообщением.

— Значит, теперь у власти будет Ленин? — спросил Иван каким-то особым тоном, в котором слышались и надежда и радость.

— Да, Ленин!

М. ДУДИН

## ПРОЩАЛЬНАЯ

Забелела стынь-пороша,  
Закружил снежок.  
— До свиданья, мой хороший,  
Дорогой дружок.

Эшелон идет сквозь чащи  
В незнакомый край.  
— Ты смотри, пиши почаще, —  
Не позабывай.

Там, где сопки смотрят хмуро  
В переливе зорь,  
По тропинке над Амуром  
Ты уйдешь в дозор.

Незаметно у границы  
Станешь тише трав.  
Над тобой просвищут птицы,  
Прошумят ретра.

За твоей спиной всеильный  
Трудовой народ.  
— Береги расцвет обильный  
От любых невзгод.

Там, где вьется наше знамя,  
Там всегда успех;  
Там, где Сталин вместе с нами, —  
Мы сильнее всех.

А приедешь: будет вечер  
В голубых огнях.  
Принесу тебе навстречу  
Сына на руках.

Зашумит цветной порошей  
Сад над головой...  
— До свиданья, мой хороший,  
Ненаглядный мой!

\*\*

Вот огонь сентября  
Подпалил на осиннике листья,  
Яркожелтым ковром  
На седую отаву прилег.  
Как вода родниковая,  
Небо прозрачно и чисто,  
И под небом ползут  
Беспредельные ленты дорог.

Ночи очень темны,  
Зори слишком свежи и лучисты,  
На земле тишина  
До последней звезды.  
А с утра у рябин  
Кумачевые спелые кисти  
Осаждают горластою  
Стаей дрозды.

В бочаги поосыпались  
Ягоды дикой смородины.  
Крепко, приторно  
Пахнет в омшаннике хмель.  
... Даже в этой картинке  
Я вижу тебя, моя родина,  
Золотая земля из земель.

В. КУРБАТОВ

## ВСТРЕЧА

В небе тучи плыли тихо  
Бесконечной чередой.  
По дороге ехал лихо  
Шофер — парень молодой.

Мчался с ветром вперегонки  
Мимо пашен и лугов...  
По дороге шла девчонка  
Девятнадцати годов.

Оглянулась: непутевый,  
Гонит словно ураган!  
Мне платок забрызжет новый  
Этот шофер-грубиян!..

Но подъехал парень чинно:  
— Подвезу, быть может, вас?  
Улыбнулась дивчина,  
Обожгла огнями глаз.

Подарила нежным взглядом  
И кивнула головой,  
С ним в кабину села рядом.  
Парень едет — сам не свой.

Оторвать не может взоры  
От девичьего лица.  
Разговоры, разговоры,  
Разговоры без конца.

Но настало расставанье:  
— Вам — туда, а мне — сюда.  
И сказала на прощанье  
Парню девушка тогда:

— Может, вам когда придется  
Ехать небом голубым?..  
Подвезу вас... — И смеется  
Смехом звонким, молодым.

— Нас поднимут выше тучи  
Два серебряных крыла!  
И походкою летучей  
В гору девушка пошла.

## ПРИЗЫВНАЯ

Так вот он —  
Желанный последний свисток,  
И поезд — железная птица —  
Ребят одногодков  
На Дальний Восток  
Увозит к суровым границам.

На время оставлен  
Родимый завод.  
Дорога большая-большая!  
Но мать поседелая  
Слезы не льет,  
Спокойна жена молодая.

Поля и деревни  
Уходят назад,  
И рощи проносятся мимо.  
И вспомнил один  
Голубые глаза  
И песню девчонки любимой...

А поезд несет  
За вагоном вагон...  
— Друзья,  
До Востока — велик перегон!  
Давайте  
Хорошую песню споем,  
Которую раньше певали.



И песня звенит,  
Нарастая как гром,  
И ветер  
Прислушался к песне тайком,  
И замерли синие дали...

Летит наша песня,  
Легка и вольна,  
Знакомая всем:  
«Если завтра война»...

## ПЕСНЯ ТКАЧИХИ

Он приехал в вечер тихий  
Из-за снежного Байкала,  
Я — веселая ткачиха —  
Друга милого встречала.  
От врагов наш край чудесный  
Бережет он нерушимо.  
Я встречала друга песней  
Самой лучшей и любимой:  
Если тучи грозовые  
Встанут в небе голубом,  
Мы — ткачихи молодые —  
В бой за родину пойдем!  
Провела его родного  
По тропиночке знакомой...  
Отпуск кончится — и снова  
Я одна останусь дома.  
Я сотку платочек алый  
Дорогому на прощанье.  
До свиданья, мой удалый.  
Мой хороший, до свиданья!  
Если тучи грозовые  
Встанут в небе голубом,  
Мы — ткачихи молодые —  
В бой за родину пойдем!..  
Мил уедет на границу,  
Я останусь здесь трудиться,  
До Москвы — родной столицы —  
Протяну дорожку ситца.  
Друг ты наш, товарищ Сталин,  
Коль враги пойдут войною, —  
Защищать родные дали  
Мы подыдемся стеною.

Если тучи грозовые  
Встанут в небе голубом,  
Мы — ткачихи молодые —  
В бой за родину пойдем.

## В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

### I

Перед нами просторы,  
Над нами — луна.  
Подковы звучат  
Да звенят стремена.  
А дома остались  
И женка и дочь.  
Эх, лунная ночь, —  
Новогодняя ночь!

А белые степи  
До жути пусты.  
Мы едем одни  
Среди этих пустынь.  
Припомнился мне  
Пошатнувшийся дом  
Да яблонька тонкая  
Под окном.

Косая калитка,  
Скамья у ворот,  
Знакомой реки  
Голубой поворот.  
Всходила луна  
Вот такая — точь-в-точь.  
Эх, лунная ночь, —  
Новогодняя ночь!

Морозит...  
И ветер в лощине прилег.  
Мы едем одни  
Целиной, без дорог.  
Притихли  
Друзей боевых голоса.  
— Передние, стой!.. —  
Приказал комиссар.  
— Мне место знакомо  
Далеко кругом, —

Отсюда мы прямо  
В станицу придем,  
Там дело найдется,  
Скажу наперед, —  
Там белые будут  
Встречать новый год.  
    Зажгутся огни,  
    И польется вино...  
    Но им уж недолго  
    Гулять суждено!  
    Они и не думают  
    Встретить гостей.  
    Ну что ж! Не сочтут  
    Ни голов, ни костей.  
В ту лунную ночь —  
Новогоднюю ночь —  
Слова комиссара  
Сбылися точь-в-точь.  
Мы дрались, как львы!  
В предрассветную рань  
Разбитый противник  
Бежал на Кубань.

## II

Давно отошли  
Боевые года.  
Друзья по походам —  
На фронте труда.  
Уже и виски  
Серебрят седина,  
Выросла дочь,  
Постарела жена.  
Мой дом — словно чаша:  
Тепло и светло.  
К нам в жизнь  
Долгожданное счастье вошло.  
Его добывали  
В упорных боях,  
Из битв выносили  
На крепких руках.  
И вот...  
На столе и цветы, и вино;  
Блестит  
Белоснежное полотно.  
Просторная комната  
Света полна.

Ко мне, улыбаясь,  
Подходит жена,  
А в двери —  
С мороза румяная дочь.  
Чудесная ночь, —  
Новогодняя ночь!

## В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЛОБОДЕ

Редет сумрак ночи января,  
Стоит мороз жестокий, небывалый.  
Холодная, далекая заря  
Легла над миром лентой яркоалой.

Под синим снегом замерла земля.  
Над речкой — кремль и царские палаты,  
А из-за стен сурового кремля  
Несутся звона тяжкие раскаты.

На колокольне — Грозный, царь Иван,  
В высокой шапке, в шубе соболиной.  
Усталый месяц прячется в туман,  
Темнеет лес за спящею долиной.

А на пригорке дремлет слобода:  
Курные избы, улицы кривые,  
Там тишина, лишь только иногда  
Спросонок прокричат сторожевые.

За слободой стеной белеет мгла,  
В которой слышны шорохи ночные.  
Бескрайной ширью Русь кругом легла,  
Закованная в цепи крепостные.

Гудят колокола наперебой,  
И медным звоном полнится округа.  
Малюту Грозный видит пред собой —  
Пономаря, опричника и друга,

Смиренный вздох, и беспощадный взгляд.  
Монашья ряса скрыла меч булатный...  
Такие с ним великое творят  
И делят все в тревогах жизни ратной.

Опричина — опора жизни сей,  
А все, что супротив, — измена, слякоть...

И царь разбил крамольников-князей,  
Продавшихся литовцам и полякам...

Царь Грозный шел в поход, как гневный вал,  
И снял в бою ворота Новограда,  
С опричниками Русь в одно собрал —  
И делит с ними муки и отрады.

И полыхает чувств его пожар...  
Сильней, сильней, колокола, звоните!  
— Казнить сегодня трех воров-бояр,  
Задумавших измену учинить.

Горит заря, окончен долгий звон,  
И началось соборное стоянье.  
Игумен Грозный входит на амвон,  
Послушникам давая приказанья.

\*\*  
\*

Всем сердцем родину свою люблю —  
Леса и горы, недра и просторы,  
Я прохожу по старому кремлю,  
Вхожу в музеи, в гулкие соборы.

В них нет и тени грозного царя,  
Растаяли колоколов раскаты.  
Навстречу мне, как раз из алтаря,  
Выходят стайкой дружные ребята.

И я гляжу в их ясные глаза,  
Глубокие, как небо на рассвете.  
И мне ребятам хочется сказать,  
Что мы живем всех лучше на планете.

Что в жизни нам открыты все пути,  
И кровь отцов пролита не напрасно...  
Нам все дано: расти, учиться, цвести  
Под вольным небом родины прекрасной!

В. КУДРИН

## ОХОТНИК

Цветут леса.  
Красавицы осины  
Впитали сок сияющей зари.  
В сетях ветвей,  
Подставив солнцу спины,  
Тяжелые таятся глухари.  
Цветут леса.  
На парашютах-листьях  
Спускаются на землю пауки.  
И дупели,  
В глуши болотной выспев,  
Переселились к живцу у реки.  
Цветут леса.  
А поле стало гладким.  
Заполонил колхозы урожай.  
Остались в поле только куропатки  
Да косяки перепелиных стай.  
Цветут леса.  
Полны до края соты.  
Обилья дни идут по всей стране.  
Пора отлета,  
Листопада  
И охоты  
Весну цветущую напоминает мне.  
Цветут леса.  
И жизнь полна цветенья.  
В потоке дней  
Мы счастье наше пьем.  
Я нахожу источник вдохновенья  
В моем труде  
И в отдыхе моем.

## ГРУШЕВЫЙ САД

Дни, как птицы, летят и летят.  
И тревогой насыщены ночи.  
Ты внесла в этот грушевый сад  
Аромат распустившихся почек.  
Помнишь, в гуще цветущих ветвей,  
Весь во власти  
Порыва и страсти,  
Нам обоим пропел соловей  
О большом человеческом счастье?!  
Помнишь, я отвечал соловью,  
С недоступным ему вдохновеньем,  
Про любовь  
    И его,  
    И мою  
Человеческим радостным пенем?!  
Дни, как птицы, летят и летят,  
И тревогой насыщены ночи...  
Аромат распустившихся почек  
Ты внесла в этот грушевый сад!

## ВЕСЕННИЙ ЛУЧ

Весенний луч  
    Оставил яркий след.  
Журчат ручьи.  
    В саду скворец поет.  
Но грустно мне...  
    Ее со мною нет...  
Она давно ушла —  
    И не придет.  
Горячих встреч  
    Неугасим закат.  
Далеких дней —  
    Близка, прозрачна даль.  
И призрак тот  
    Зовет меня назад,  
Сжимает сердце мне  
    Моя печаль.  
Была весна.  
    Мне было двадцать лет.  
Я пел тогда,

Как соловей поет...  
Как грустно мне...  
Ее потерян след,  
Она давно ушла —  
И не придет.



М. МАРКОВ

## ВЕСЕННИЕ СТИХИ

### I

Опять весна, опять  
Пора влюбленных!  
Все засияло, зацвело кругом!  
На телеграфе в городе зеленом  
Я встретил Музу в платье голубом.  
Она пришла и принесла дыханье  
Цветущих яблонь, юности, весны.  
Ах, не о ней ли в молодости ранней  
Мне часто снились солнечные сны.

Опять весна, опять  
День озаренный,  
Как гость желанный,  
Входит в каждый дом.  
Поэт в районном городе зеленом  
Влюбился в Музу в платье голубом.

### II

Лети, мой стих, как вихрь летает,  
Во все концы, во все края.  
Найди, мой стих, где обитает  
Любовь моя, весна моя.  
Лети туда, где дышит счастье,  
Где соловей в саду поет.  
И, отворив окошко настезь,  
Ей сердце передай мое.  
Она возьмет и приласкает,  
И сердце вспыхнет, как маяк.  
Она волшебная такая —  
Любовь моя, мечта моя!

### III

В какой набат и как забить,  
Как мне запеть, с каким искусством,  
Чтоб в сердце Музы пробудить  
Ее нетронутые чувства?  
    Каким стихом, что мне сказать,  
    Что мне придумать — явь или сказку,  
    Чтоб этой девушки глаза  
    Дарили мне любовь и ласку?  
Какой мне подвиг совершить,  
Что сделать мне с судьбой своею,  
Чтоб вечно рядом с Музой быть  
И вечно быть любимым ею?

## ДЕВИЧЬИ ПЕСНИ

### I

Далеко — далеко  
В бурю, вьюгу, зной  
Не смыкает ока  
Часовой родной.  
    Как страну он любит,  
    Знает вся страна.  
    Как меня он любит,  
    Знаю я одна.

### II

Где-то за морями, за горами  
Трудится зимовщик молодой.  
Не дойти до смелого ногами,  
Не доплыть до славного водой.  
    Пусть пурги жестоко польханье, —  
    С комсомольцем в ледяных краях  
    Родины горячее дыханье  
    И любовь горячая моя.

М. САДОВСКИЙ

## НА СТРАЖЕ

Тихо встряхивает гривой  
Мой товарищ вороной.  
Слева — речка, справа — ивы  
Встали черною стеной.

Конь ступает легче, реже.  
На тропе не слышен шаг.  
За рекою побережье  
Притаилось в камышах.

Над водою шепчут ивы.  
Напоить коня — добро...  
Но косится друг ретивый  
На речное серебро.

И знакомыми тропами,  
Объезжая каждый склон,  
Притаясь, стрижет ушами,  
Ловит шорох, шопот, стон.

Мы друг друга понимаем,  
Мой товарищ вороной.  
Мы с тобою охраняем  
От врага наш край родной.

Путая следы лисицей,  
Не уйдет от нас шпион.  
Мы с тобою на границе  
Службу родине несем.

## ОТ РЕДАКЦИИ

Автор публикуемого рассказа, П. Д. Гусев, — старый большевик, один из организаторов Шуйской партийной организации. Вместе с М. В. Фрунзе он был арестован в 1907 г. и заключен во владимирскую центральную тюрьму. Был дважды приговорен к смертной казни через повешение, впоследствии замененной во семью годами каторжных работ. Умер от чахотки в тюрьме в 1915 г. за две недели до окончания каторги.

Рассказ «Расчет» был написан П. Д. Гусевым в камере смертников, где он находился вместе с М. В. Фрунзе. «Расчет» является первой частью довольно большой биографической повести. Основным героем автор хотел сделать Ивана, младшего брата Семена, показав его рост и формирование как большевика, активного участника революции 1905 г. Прототипом Ивана является брат П. Д. Гусева, старый большевик Н. Д. Гусев, живущий и здравствующий поныне.

М. В. Фрунзе слышал рассказ еще в тюрьме. Рассказ ему настолько понравился, что, по словам Н. Д. Гусева, он хотел закончить его, поскольку знал дальнейшее содержание. Старый большевик тов. Коняев, отбывавший каторгу во владимирском центре одновременно с М. В. Фрунзе и П. Д. Гусевым, рассказал нам: «Помню, однажды, вечером мы лежали втроем на нарах. Павел Гусев, занявшийся в то время литературной работой, прочитал нам свой рассказ, название которого я сейчас не могу вспомнить, но в памяти отчетливо сохранилось то, что, внимательно прослушав рассказ, М. В. Фрунзе был от него в восторге, дал ему очень высокую оценку».

«Расчет» сохранился случайно: он был сдан семье П. Д. Гусева тюремной администрацией вместе с одеждой покойного.

Рассказ публикуется впервые.

## РАСЧЕТ

(Рассказ из рабочей жизни)

— Семашка, а Семашка, вставай, батюшка, скоро уж свистки. Так говорила мать, осторожно трогая на лежанке сына. Семашка, или Семен Силин, мальчик лет пятнадцати, испуганно вскочил и огляделся. Часы, висящие на стене, показывали половину шестого утра. В комнате было еще темно, холодно и неуютно. Совершенно голые стены еле освещались маленькой лампочкой, стоящей на столе на опрокинутом горшке. Черные сучья плохо отесанных бревен, как коровьи глаза, глядели отовсюду. И без того небольшая комната еще больше стеснялась висящей под потолком, как колокол, лубочной колыбелью. Около нее на полу лежали лохмотья неубранной постели, а под ней — целая куча грязной обуви. Возле стола на табуретке сидел отец, черный, с суровым лицом мужчина, и чинил ременные вожжи. Увидев его, мальчик вздрогнул и заторопился. Стараясь не шуметь, он кое-как умылся и стал обуваться в новые, только что купленные сапоги, украдкой бросая взгляды в сторону отца. Он догадался уж, что отец сегодня сердит как никогда, следовательно, нужно убираться, пока цел. Мать тоже, видно, молча согласилась с ним; качая одной рукой колыбель, другой она подавала ему все необходимое, чтоб уйти на фабрику.

Вчера вечером Семен сообщил родителям, что ему назначили расчет. Это сообщение, как гром, поразило их, да и сам он понимал случившееся несчастье. На вопрос отца: за что? он, дрожа и запинаясь, объяснил, что за директорскую собаку, которую он нечаянно подшиб, играя в городки. Причем всеми силами стал было доказывать свою невиновность тем, что не знал, чья собака, и подшиб ее нечаянно, но отец не дослушал до конца, не говоря ни слова, он принес вожжи, те самые, над которыми теперь сидит, и, несмотря ни на какие мольбы и защиту матери, бил его целый час, пока не удалось матери схватить вожжи и повиснуть на них.

После чего отец пнул ее несколько раз сапогом и молча ушел на улицу. Все тело сейчас ныло у Семена. За ночь рубашка присохла к кровавым рубцам на спине и теперь не давал ему нагибаться. Торопясь обуться, он вместо левого сапога надел правый, что еще больше его заставило спешить. Стаскивая его обратно, он неосторожно нагнулся и содрал рубашку. Точно искры у него посыпались из глаз, он вскрикнул от острой и сильной боли и чуть не заплакал было, но тут вспомнил про отца, как бы заглушая крик, кашлянул и до крови закусил губу. Но отец заметил это, хотя и не обернулся на него.

— Право, мерзавец, — хрипло проговорил он, как будто продолжая что-то, сшивая оборванные вожжи. — Пять человек вас у меня и все жрать-то просите. Куда пойдем, свиной сын, на зиму-то? Кто место-то про нас припас? Ведь слепых водить заставляю. Знай это... Городки! натко какое дело нашел! Диви хоть бы маленький был, дуралей! Нет, чтобы смиреннько постоять где-нибудь, а он в городки, колотит обувь. Да знаешь ли ты, пустая голова, сколько сапоги-то эти стоят? Запорю, Семка! — со свистом закричал отец, вскакивая с табуретки, — до смерти запорю, лучше и домой не ходи с расчетом.

Ребенок, спавший в колыбели, проснулся от крика и заревел. Это еще больше разгневало отца. Точно сумасшедший, глядел он на Семена. — Ишь ты, мерзавец, — продолжал он, — кормил, одевал его, а он вместо помощи-то отцу — гулять надумал. Отцу на биржу не в чем выехать, а он... Ах, ты, рыло поганое! Нет, баню хорошую нужно тебе дать, чтобы знал, как копейка достается, сукин сын.

— Полно грешить-то, отец, с этакой поранки, — вступилась мать, — нехорошо ведь. Чем драться-то, ты бы посоветовал ему, как добрые люди делают: ну, поклониться, попросить там кого следует, можа и обойдется все.

Но плохой советник был отец, он никогда не только не работал на фабрике, но и не бывал в ней. Чуть не с малолетства ездил на легковом извозчиком на бирже, а какие порядки на фабрике — он, конечно, не знает. Два года назад он случайно определил сына на фабрику. Раз, разговорившись со своим седоком, он стал жаловаться на свою бедность, упомянул и о семье. Седок оказался бухгалтером с одной громадной фабрики. Узнав, что у извозчика имеется сын без дела, он велел привести его на фабрику, обещая похлопотать там за него. По рекомендации бухгалтера Семена взяли в контору мальчиком. Первое время все обязанности его заключались: сбежать на почту, на станцию, подать чего-нибудь. Конторская чистота и вежливость обращения очаровали его, он полюбил работу и всей душой отдался ей. За два года он не сделал ни одного проступка против конторской дисциплины. Старшие конторщики ставили его в пример другим мальчикам и время от времени давали ему уже более сложные

поручения. Словом, как говорится на конторском языке, он быстро поднимался в гору и со временем мог бы занять одно из мест конторщиков. Отец знал об успехах сына, радовался и очень большие возлагал надежды на него. Правда, Семен получал теперь только всего пять рублей, но и это большие деньги. «Выйдешь в люди, — говорил отец, — и ты свое получишь. Что делать, нужно потерпеть, — сразу ничего не делается, только будь поласковее, да не балуй смотри. Спаси бог — узнаю что, шкуру спущу...» Дав такое наставление, он начинал расспрашивать о барине, определившем в контору сына, спрашивал, например, за ручку ли хозяин с ним здороваётся. Пешком или на лошади на должность ходит, а если на лошади, то на какой и кто возит, и приходил в умиление, когда узнавал, что все обстоит благополучно, набожно крестился и говорил: «Ну, слава тебе, господи».

Однажды он такой радостный приехал с биржи, что можно было подумать, что ему целый капитал достался.

— Мать, мать, — кричал он вышедшей жене, — распрягай скорее, да уходи гнедко получше — мы не зря сегодня потрудились.

Выяснилось к общему удовольствию, что он имел сегодня случай угодить барину, которого вез со станции и до квартиры. Сидя за столом, он торжественно и не торопясь рассказывал семье о случившемся.

— Стоим это мы с гнедком у станции. «Извозчик!..» — кричит. Ну, я, конечно, не зевал, сразу тут и был. «Куда, мол, прикажете, ваше степенство?» «На Троицкую», — говорит. Да и сам знаю, что туда, да все спросить-то надо, так уж нельзя. Вот тут-то я покати́л его. Потрафил... хоша и ничего не молвил, а вижу, что доволен. Спросил, как ссаживал: «Не шалит ли, мол, мой сынок у вас?» «Какой, говорит, сынок?» — Запомнювал, знать. «Семашка, говорю, — в конторе у вас». «А-а, ничего, говорит, исправный мальи́й». Слышишь, Семка, понимай. Не все заботиться отцу.

— Да я, что, — отвечал тот.

— Ну, то-то, смотри у меня..

Семен собрался и хотел было итти, но отец остановил его.

— Постой, куда бежишь, — мрачно проговорил он, — поспеешь. Раньше бы надо торопиться. Дома бухгалтер-ат, его сперва надо попросить, може и заступится. Погоди, я соберусь с тобой.

— Да он еще спит теперь, — робко возразил Семен, — он в восемь часов только встает, да я сам, тятя, попрошу... Алексей-то Федорович може только пострадал меня.

— Пострадали!.. Шкуру с тебя спустить мало, а не страшать. Больно уж волю-то велику забрал. Люди-то работают, да не стращант зря-то их, поди. Слушай, — немного легче заговорил отец, — хорошенько у меня проси, в ноги поклонись, да повинися, любят они это. Так и так, мол, Алексей Федорович, простите Христа ради, никогда больше не буду и в ноги тут ему: «Есть, мол, нечего. Пять человек нас у ютца, а он один работает. Не ваставьте, мол,

по миру итти. Лучше жалованья сбавьте» — и опять в ноги. Слышишь?

— Конечно, тятя, я и сам понимаю это. Всех попрошу... Да ведь это собака-то... — заикнулся было Семен.

— Цыц, — оборвал отец, — ты там не ляпни этого, свинья, боже упаси, разве можно, она ему в тысячу раз дороже тебя. Говорю: винися начисто. Что за беда хоть и побьет, а ты знай в ногох валяйся да проси. Уменьько-то попросишь и сжалится, гляди.

— Я не об этом, тятя, я ведь знаю.

— Знаешь, а болтаешь, ступай да хорошенько слушай там.

Семен точно от медведя бросился на волю.

— Семашка, — закричала мать, — ежу-то забыл, дурак.

— Не надо, — прокричал тот со двора.

Выйдя на улицу, Силин посвободнее вздохнул, но на душе было далеко невесело, предчувствие недоброго, как камень, давило сердце. Он знал, что директор, как ни проси его, не простит и сегодня же прогонит, разве чудом каким сжалится, да нет, едва ли... Больно уж любит собаку, из-за которой все случилось, а теперь как раз самое время с ней охотиться. В прошлое воскресенье директор ездил на охоту с ней и в это собирался ехать. Конторщики, ездившие с ним, рассказывали потом в конторе, как он хвалил и восхищался Звездочкой, которая, по рассказам, творила чудеса.

«Эх, чорт возьми, — думал Семен, — словно нарочно все случилось. Нужно же мне было соваться в породки, Корулькин, сволочь... а то бы не узнал. Он наябедничал. Видно, на мое место захотел. Ладно, окаянный, прогонят, так я тебе доставлю. Правда, неуж прогонят за собаку? Что ей: не околеет, ведь поправится опять. А ну, как прогонят, чепо делать-то тогда? Кабы годы вышли, так на другие бы работы пошел, а то куда? Никуда ведь не возьмут. А отцу-то как скажу!

Сердце упало у Семена при мысли об отце, силы оставили, — и он остановился.

«Да нет, — бодрился он, шагая снова, — попрошу, может ничего не будет. Ведь любит он меня, еще на охоту взять хотел. Дамам, говорит, будешь помогать. Вот-то хорошо бы было».

Но радостные мысли не держались в голове, слишком мало было надежды на прощение. Разгневанный директор как наяву топал перед ним, но он вчера от ярости, должно быть, не мог долго ругаться, только и кричал одно: «Расчет, расчет, завтра же расчет», — и это слово так сверлило теперь, как шило в голове, сердце болело и сжималось.

«А сегодня, что скажет сегодня?» — спрашивал Семен и, не найдя ответа на это, гнал от себя этот вопрос, хотел забыться и положиться на волю провидения. Но воспаленное сознание работало, не давало покоя и снова тащило к случившейся беде. Черные думы, как ночь осенняя, снова заполняли голову и, как гиря пудо-



вая, давили своей тяжестью, ноги заплетались и с трудом подвигались вперед. Весь он, точно измученный работой, как то опустился, сдавленно вздыхал и, спотыкаясь, постоянно вздрагивал, как неожиданно уколотый.

До фабрики осталось недалеко. Силин шел по узкому и прызному, как сточная канава, переулку. Маленькие ветхие домишки, точно от голода, жалась один к другому по обеим сторонам. Покосившиеся заборы сливались с ними в темноте, и вся эта сплошная масса казалась какими-то черными и обрывистыми берегами. Единственный фонарь, освещавший улицу, будто подбитый глаз, мигал в непроглядной темноте и, не дожидаясь рассвета, потухал. Со стороны фабрики слабо доносился непрерывный шум машин, точно мельничных колес, который по мере приближения становился все сильнее и сильнее. Где-то засвистел свисток на фабрике. За ним другой, третий, и воздух задрожал от разнотонных голосов, которые точно нарочно кричали все врозь: один басом, как в бочку; другой точно комар над ухом тянул; третий задорным тенором, немного запоздав, старался теперь догнать и перекричать всех.

Переулок оживился. Кое-где в запотелых окнах домов появились огоньки, всюду завизжали и захлопали калитки, на тротуарах появились рабочие. Сначала редко, точно тени мелькали возле освещенных окон, потом все больше становилось их. Отдельные фигуры превращались в кучи, кучи срастались и вытягивались в сплошную живую ленту, которая, как гигантская пила, поднятая кверху зубьями, двигалась в одном направлении под окнами. Из калиток, точно встревоженные муравьи из муравейника, выходили рабочие. Женщины и мужчины, молодые и старые, — все мешались в один общий поток и, толкая и обгоняя друг друга, спешили на работу. Скверная осенняя погода еще больше подгоняла их.

Семен только сейчас заметил, что моросит небольшой дождик. Он давно уже очутился в толпе и, не отрываясь от тяжелых дум, шагал за другими машинально. Выйдя из переулка, рабочие повернули направо и очутились на большой темной площадке, подобной болоту, лишенной растительности. С противоположной стороны ее на рабочих глянула из темноты промадная четырехэтажная фабрика, контур которой терялся на фоне черного пространства, и только бесчисленные окна светились, как сказочная клетка, наполненная огнями. Над воротами ее висел большой электрический фонарь, который словно улыбался промокшим рабочим и приглашал приветливо в тепло.

Семен все так же машинально направился сюда. Подойдя к воротам, он на минутку остановился и подумал: «Неуж это в последний раз? Да все равно уж не воротись» — и более решительно прошел в контору. Здесь, кроме сторожа, никого еще не было. Сегодня он пришел раньше обыкновенного и бесполезно, так

как все равно делать было нечего. Но он предпочел бы лучше быть на воле под дождем, чем дома при отце дожидаться обычного времени и, кроме того, все еще надеялся на директорскую милость и хоть чем-нибудь хотелось угодить ему. Он разделся и принялся кое-что чистить и прибирать, но в эту минуту откуда-то явился табельщик и остановил его.

— Филин! Ты что так рано прилетел? — говорил он, подходя к Семену. Семен обернулся и поклонился табельщику. — Здорово, здорово. Пришел-то рано, говорю, зачем? Разве не знаешь, что приниматься-то не велено.

— Не велено?.. — с ужасом проговорил Семен.

— Да, да. Сам директор не велел. Можешь собираться и идти домой, идти или дожидаться. Иди-ка лучше да спи себе спокойно, а там так около обеда и за расчетом приходи.

— Нет, я погожу. Попрошу... Может не отдадут.

— Как хочешь — дело твое. Только едва ли, брат, — сердит уж больно, а впрочем — попробуй, кто его знает, быть может и простит, бывает это. Во всяком случае, не будешь в убытке от этого. Но только подожди приниматься-то пока.

Табельщик говорил развязно и спокойно. Проговорив последнее, он повернулся и ушел, а Семен точно оглушенный все еще стоял и слушал... Его лицо, действительно похожее на филина, побледнело и осунулось, большие круглые глаза еще больше расширились и выражали бесконечное отчаяние. Сообщение табельщика о расчете не было ново для него и не столько поразило, сколько приказание не приниматься за работу. В этом он видел формально приказание директорской угрозы, во что ему больше всего не хотелось верить. До сих пор у него хоть небольшая, но все-таки имелась надежда на благополучную развязку. Он знал и не один пример, когда директор грозил кому-нибудь так же, как и ему, расчетом, но угроза так и оставалась угрозой, а провинившийся на утро опять принимался за работу. Теперь и эта надежда у него исчезла. Ясно, что директор не намерен изменить раз принятого им решения и что если кто может изменить, так только он один. Но что он сделает? Просить и больше ничего. Но как, чего ему сказать? С ним никогда не случалось такой истории, и как лучше поступить в подобном случае — он положительно не знал. Напрягая до боли мозг, все усилия, он начал придумывать целую оправдательную речь.

Но вскоре на лестнице послышались шаги и оборвали размышления. В контору торопливо вошел Корулькин, юркий и красивый мальчик, тот самый, который накануне выдал директору Семена. При виде его беззаботной и веселой физиономии, Семен вышел из подавленного состояния и сердито подступил к нему:

— Что, сволочь, наязыничал и думаешь — ничего не будет? Ладно! Увидишь там... Радуйся, радуйся.

Ему страшно хотелось броситься на Корулькина и тут же

исколотить его, но он боялся, как бы не повредить этим прежде временно себе. Корулькин хоть и не боялся Семена, но как видно стыдился перед ним. Он молча прошел за стол и низко наклонился над книгой, принялся за работу. Но Силин не унимался.

— И не стыдно, Корулькин, не стыдно? Ну, чего прибыло тебе, хошь бы тянул за язык-ат кто, а то... Эх, ты, а товарищ тоже.

— Да, что я... ты сам... я не виноват, — начал оправдываться Корулькин, — что мне расчет что ли получить из-за тебя?

— Полно врать-то, не оправдывайся. Языком вылезть захотел, а не расчета забоялся, кабы не ты, никто бы не узнал.

— А почему ты знаешь? Не одни, ведь, мы играли, могли и от других узнать...

— Так никто вот не сказал, один ты выискался. Сволочь ты, язычник и больше ничего. Дать вот по морде, вот и будешь ябедничать.

Силин как ни сдерживал себя, но злоба все-таки пробивалась наружу, и неизвестно, чем кончилось бы это объяснение, если бы в это время не пришли другие мальчишки, которые, завидя возможность драки, обступили и стали было поддразнивать их. Но Силин круто замолчал и отошел от них. Вслед за мальчишками стали появляться один за другим и старшие конторщики. Некоторые из них останавливались перед Семеном, расспрашивали его и выражали сожаление, но большинство не обращало внимания, проходили мимо. Все они поздоровались друг с другом и, сделав необходимые приготовления, садились за конторки и принимались за обычные занятия. Спустя немного по всей конторе раздавалось щелканье на счетах, шелест бумаги, скрипение перьев и лязг чернильниц. Семен, поместившись около двери в ожидании директора, грустно наблюдал за работой и завидовал.

Двухлетняя практика не сидеть без дела здесь, о которой он раньше и не знал, теперь так ясно и сильно обнаруживалась в нем. Вся обстановка показывалась ему такой прекрасной, уютной и милой, что он только сейчас понял хорошо, как счастлив был за время пребывания в конторе. Оставленная работа и никем еще не занятый стул сиротливо глядели на него и как будто манили к себе. Ему никогда так не хотелось работать, как сейчас, хотя бесплатно, лишь бы не стоять так, на виду у всех, точно у позорного столба; убить это мучительное время, а там, да что там, пусть будет — чего не миновать. Но сознание, что он не может, не имеет права на это, как струя холодной воды, вливалось в голову, перед ним вырастала какая-то невидимая стена, мысли перед которой путались и сливались в какой-то бесформенный клубок, сердце сжималось и переставало биться, тяжелое и злое чувство наполняло и захватывало измученную грудь, чувствовалась томительная усталость и безотчетная тоска.

Он как будто потерял или нечаянно разбил что-то дорогое и

теперь, стараясь собраться с силами, силился осмыслить и понять собственное положение. Но мысли, дойдя до невидимой границы, становились втупик и не развивались дальше. А нужно, непременно нужно, во что бы то ни стало придумать чего-нибудь, ведь вся дальнейшая участь от этого зависит. Уныло озираясь и постоянно переминаясь с ноги на ногу, Силин не отрывался от двери и от малейшего шума на лестнице нервно вздрагивал и возбуждался.

А время шло. Сторож принес промадный самовар, и конторщики, расположившись вокруг стола, принялись за чаепитие. Сидящие лицом к Силину шутили с ним и острили над праздностью его. Тот болезненно улыбался, но ничего не отвечал. Вдруг дверь, около которой стоял Силин, бесшумно отворилась, и в контору вошли бухгалтер и кассир. Семен вытянулся и рванулся:

— Иван Антоныч, пожалуйста послушайте, — быстро зашептал он, подходя к бухгалтеру, — мне расчет назначили сегодня... собаку-то, Иван Антоныч.

Но тот, очевидно, был предупрежден. Как только увидал Семена, он, не слушая, остановил его.

— Я знаю, знаю, — проговорил бухгалтер, — сейчас там отец твой должно быть говорил. Но что же делать? Пусть отдаст, возьмет опять потом. Подождем немного.

— Иван Антоныч, да ведь я не нарочно ее... Ей-богу, не нарочно, хоть самого Корулькина спросите. За что же, ведь я не знал, засгудитесь, Иван Антоныч, нельзя ли как-нибудь!

— Ах, ты, чудак какой, не в этом дело. Раздражен он на тебя, все равно ничего не выйдет, рассердим только больше и тебе не советую теперь просить. Подожди немного, а там увидим.

— А дома я что скажу, Иван Антоныч? Нет, я лучше попрошу, а то меня до смерти тятя убьет.

— Ну, как это убьет! Разве можно это? Я ему говорил, что нужно подождать. Да ведь странные вы люди, неужели не можете понять такого простого обстоятельства, что бесполезно теперь обращаться с просьбой? Вот успокоится немного — тогда другое дело, а сейчас... Нет...

— Иван Семеныч, я бы другую собаку-то нашел, еще лучше.

— Вот и говори с тобой, ну разве поможешь этим, да впро- чем не понять тебе. Иди уж, если хочешь, только не надеюсь я...

Лишь только отошел бухгалтер, как в широко открытую дверь, вошел цветущего здоровья и гладко выбритый директор. Пожав руки кассиру и бухгалтеру, он поклонился остальным и, как-то подпрыгивая на ходу, быстро направился в кабинет. Семен как ни привык к нему, видя и даже разговаривая каждый день, однако сегодня при появлении его дихорадочно задрожал и как будто уколы почувствовал в спине. Таким великим и всемогущим никогда до сих пор не казался он ему. Какое-то робкое и трепещущее чувство, точно подсудимого перед судьей, наполнило его, которое, хотя и безуспешно, он силился подавить и овла-

деть собой. Расстроенные нервы трясли и пуще возбуждали его тело. Он уже всякую уверенность потерял в себя и сомневался, что сумеет ли вообще что-нибудь сказать директору. А время объяснения настало. Нужно было идти и хоть как-нибудь да попросить для очистки совести перед отцом, который обязательно потребует отчета.

Немного подождав, Семен отчаянно поглядел в сторону бухгалтера и, призывая на помощь всех святых, с замирающим сердцем отправился к директору. Робко, задерживая, как только можно, дыхание, он отворил дверь кабинета и вошел туда. Директор не заметил его, или только делал вид, что не замечает. Заложив руки за спину, он стоял возле окна спиной к Семену и сосредоточенно думал, глядя на фабричный двор.

Постояв минуту, Семен слегка кашлянул, желая этим обратить на себя внимание, но директор, как будто ничего не слыша, по-прежнему стоял не оборачиваясь. Семен кашлянул еще, тогда директор, как подброшенный, быстро обернулся и, густо покраснев, чуть не вплотную подбежал к Семену и резким тенором прямо в лицо закричал ему:

— Зачем пришел? Чего еще нужно от меня?

Семен что-то хотел сказать, но язык потерял способность говорить, и как раскрыл он рот, так и остался.

— Зачем, спрашиваю, пришел, разбойник? — кричал директор. — Вон отсюда, сейчас же вон!

— Алексей Федорович! Простите, — падая на колени, простонал Семен.

Ужас, тоска и безграничная мольба застыли у него на поднятых на директора глазах.

— Ножки поцелую, простите ради бога, Алексей Федорович!

Он действительно обнял ноги и, низко припадая, стал крепко и часто целовать их.

— Прочь, прочь, гадина, — визжал директор, пятясь и отдергивая ноги от Семена, как будто боясь запачкать лакированные ботинки. Но тот полз за ним, ловил и горячо целовал их.

— Простите, простите, Алексей Федорович, — плакал он, обливаясь обильными слезами.

— Прочь, говорю... Сторож! — закричал директор, выбегая из кабинета. — Господи, позовите сторожа. Не могу я... Замучил, совсем меня замучил этот негодяй, Гоните его сейчас же, гоните за ворота!

Семен поднялся и, конвульсивно всхлипывая, пошел из кабинета. Конторщики встали и с нескрываемой досадой смотрели на него, только бухгалтер занимался, как будто не слыша и не видя ничего. Около кассы Семена задержали и вручили ему расчетную книжку, по которой следовало получить расчет за две недели вперед в размере пяти рублей.

Директор все еще ругался на пороге кабинета и наблюдал за

ним. Он, очевидно, решил не умолкать до тех пор, пока не выгонят из конторы его мучителя, и действительно, только тогда перестал ругаться, когда Семен, получив расчет, горько заплакал и пошел. Бухгалтер, как бы демонстрируя перед конторщиками и директором, гордо поднялся и вышел вслед за ним.

— Послушай, Семен, — остановил он его на лестнице, — да будет плакать то. Слезами не поможешь. Ну, что за беда, отдали, так отдали — неважно. Найдем другое... Ты вот что, зайди-ка денька через три ко мне, я справлюсь кое-где, быть может и найдем что-нибудь.

— Пожалуйста, Иван Антоныч. — Семен и ему хотел было поклониться в ноги, но тот не допустил этого.

— Что ты, что ты, голубчик... — сконфузясь, заговорил бухгалтер, — не надо этого... Разве хорошо? — Он погладил по голове Семена и, провожая, сказал ему: — Ну, иди теперь, да отдохни немного.

Еще раз поблагодарив бухгалтера, Семен значительно повеселел и, как бомба, полетел в прихожую.

— А, это ты, Семашка, — встретил его сторож, вылезая из угла, — что это у вас сам-от больно раскричался?

— Расчет мне, дядя Митрий, — сказал Семен.

— Да полно... за что это?

— Корулькин наядбедничал... За собаку.

— А, вот оно какое дело-то. Это за дуру-то? Чудно. А он вечером посылал меня за лошадиным доктором. Это к ней. А я не знал, что, думаю, за притча? Лошади, как пушки, здоровые, да сдуру-то и спросил его: «Аль, мол, барин, с лошадами неладно?..» «Ах, оставьте, говорит, меня с глупыми вопросами». Уж от кучера про собаку-то узнал. «Сидит, говорит, как помешанный, около нее да ругает всех. Словно жена она ему».

Выйдя из конторы, Семен, нахлобучив фуражку, поплелся за ворота.

На дворе давно уже рассветало. Мелкий осенний дождик не переставал; с наступлением дня к нему присоединился сильный холодный ветер, — и он усилился. Тонкие косые нити его, обрываясь и переплетаясь под напором ветра, резали лицо и какими-то градами летели в воздухе. Серое небо, сплошь покрытое тихо плывущими облаками, плотнее надвинулось на землю и лучшего ничего не обещало. Жалобно журчащая вода и заунывные звуки ветра раздражали обывателей и нагоняли на их душу гнетущую тоску. Все прятались от непогоды и без надобности не выходили из-под кровли.

Семен по привычке остановился в сторожке и, выглянув в окно, что же увидал на улице? Как раз перед самыми воротами, не обращая внимания на дождь, — стоял его отец. Угрюмо понурив голову, он, должно быть, с нетерпением дожидался сына. Семени прежде всего бросился в глаза ременный кнут, который отец дер-

жал в руках. Ему представилось уже, что вот, лишь только выйдет, как отец набросится на него и, не выслушав ни слова, спустит штаны и примется бить беспощадно, бить прямо при всех на улице. Он испугался этой мысли и, круто повернув, пошел обратно к задним воротам, чтобы выйти не замеченным отцом.

Очутившись в безопасности за задними воротами, которые глядели на реку, Семен, все еще боясь встретиться с отцом, поспешил итти от фабрики. «Вот постою там, — думал он, идя по берегу реки, — подожди под дождевиком-то. А мне-то куда? Домой итти? Нет, погожу... Но што же? Все одно не миновать, только хуже осердится. Эх, кабы севсдни похлопотал Иван-то Антоныч, може и нашлось бы, тогда без горя бы можно... Сказал бы, што поступил опять, а теперя што? Рази поверит он, до смерти ведь избобет. Да што я, рази много три-то дня. Ежели найдется, так прямо и прииду с работы и деньги отдам. Вот, мол, тятя, не сердися, — тогда уж не отдует, похвалит еще. Не пойду, што будет». Семен остановился на последней мысли. Он твердо решил не показываться на глаза отцу, пока не отыщется работа.

Теперь голову его занимал другой вопрос: как и где провести это продолжительное время? Все дальше подвигаясь по берегу, он незаметно для себя подошел к лесному складу и остановился перед ним. Ему тут же пришла в голову идея, что всего лучше можно устроиться здесь где-нибудь в сарае. А около одного сарая, наполненного тесом, вероятно по случаю дождя, как раз не было никого. Семен воспользовался этим обстоятельством, и, недолго размышляя, он ловко проскользнул туда и, вскарабкавшись на тес, споккойно расположился там. Здесь было сравнительно тепло и сухо. Сознание, что там, под открытым небом, холодно и сыро, даже уютным делалось помещение сарая. Откуда-то сквозь завывания ветра и шум дождя доносился до Семена стук топора и визг пилы. Он заинтересовался этим и посмотрел в щелку. Оказалось, что на лугу назади сарая работали пильщики и плотники. Это немного развлекло его, он поудобнее пригнулся около щели и начал наблюдать за ними, но недолго пришлось глядеть на них, вскоре на фабрике послышались свистки, и люди, забрав пилы и топоры, ушли обедать.

При мысли об обеде Семен вспомнил, что он уже суткиничего не ел благодаря случившейся беде, и ему сразу как-то сильно захотелось есть. Несомненно, он раньше испытывал чувство голода, но за другими, более сильными ощущениями не замечал его и нисколько не заботился о нем; теперь же, наоборот, оно вытеснило все остальные, закричало о себе и настоятельно потребовало пищи. Но где ее достать? Этот вопрос как камень засел в мозги Семена. Первое, что пришло ему на ум, так это — купить. Но поглядев на золотую пятирублевую монетку, отказался от этой мысли, так как это значило бы разменять ее, а делать это — нет, он лучше бы согласился домой итти; и чтобы не соблазнила

больше, он спрятал ее дальше в карман штанов и завязал. Потом подумал было попросить у кого-нибудь, но и на это не решился. Наконец сообразил: самое лучшее сходить к братишке, который учился в училище, и сказать, чтобы принес из дома хлеба, да кстати об отце бы рассказал. Он подпрыгнул от такого плана, но нужно было торопиться, потому что училище находилось очень далеко отсюда, а уроки брата кончались скоро. Выйдя проворно из сарая, Семен чуть не бегом направился к училищу. Стараясь по возможности сократить дорогу и в то же время боясь встретить кого-либо из знакомых, он, как травленный заяц, колесил по улицам и переулкам. По временам, завидя подозрительную личность, он бросался в проходные ворота, а если таковых не было или были заперты, то как кошка прыгал через забор и, очутившись на противоположной стороне, быстрее прежнего стремился далее.

Но вот и училище показалось наконец. Задыхаясь и обливаясь потом, он как раз вовремя подбежал к нему. Лишь только сел на лавочку около крыльца, как в классе послышался невообразимый шум, а через минуту отворилась дверь и из нее, толкаясь и одеваясь на ходу, посыпали ученики. Семен встал и внимательно начал вглядываться в эту разношерстную толпу, но тот, кого он дожидался, сам увидал его. К нему подошел, как пугало одетый, маленький братишка. Засаленный и заплатанный зипунишко, спитый во дни оны должно быть рукою матери, был тесен и короток ему, а маленькую голову прикрывал большой отцовский картуз, который поминутно съезжал на худое, не по годам серьезное лицо и закрывал глаза. Но это не столько беспокоило его, сколько худые, очевидно, семеновы сапоги, широкие голенища которых как ступы сидели на тоненьких ногах: они, завязнув в грязи, свободно стаскивались с ног и задерживали его.

Подойдя к брату, он испуганно взглянул на него и спросил:

— Что ты, Семка, не работаешь? — Что? Расчет отдали, потому и не работаю, — ответил тот.

— Врешь? Совсем не возьмут уж больше?

— Да, знамо не возьмут...

— Ай, Семка, что теперь от тяти-то будет, беда ведь, видно сапоги опять не купит мне.

— Ну вот, привязался со своими сапогами. Не барин — и в этих доходишь.

— Да, хорошо тебе, у тебя новые, а мне проходу не дают, смеются все.

— Ну, что же, я не виноват. Купят — работать будешь. Ты вот что, нет ли у тебя кусочка хлеба? До страсти хочется есть, хоть корочки какой-нибудь.

— А домой-то разве не пойдешь?

— Не пойду, ты никому там не говори, что видел меня. Ни слова, смотри не проболтайся как-нибудь. Я ведь опять скоро



поступаю, не горюй, купишь тогда сапоги-то, а пока я буду где-нибудь, только хлеба-то нет. У тебя ничего не осталось, говоришь, ну так принеси мне. Я на лесном складе буду дожидаться, там в крайнем сарае с тесом.

— Да как я понесу, а как увидит тятя-то?

— Так делай, чтобы не увидал, ростяпа. Да побольше, ежели можно, так целую краюшку. Ну, иди скорее.

Переговоры кончились, и братья разошлись. Возвращаясь в сарай, Семен в надежде, что скоро братишка принесет хлеба, не полез далеко по тесу, а поместился на краю недалеко от входа и стал терпеливо дожидаться.

Плотники с **пильщиками** пришли с обеда и все также работали назади сарая, но он уже больше не интересовался ими. Теперь все мысли его сосредоточивались на хлебе, молодой организм болел и ныл от голода. Пустой желудок мучительно сжимался и что-то сосало в нем, во рту пересохло, а горло точно ржавчиной какой покрывлось.

Но прошел час, другой, а братишки все нет и нет. Терпение покинуло его, он начал ругать и мысленно грозить ему. Вдруг около сарая послышались шаги. Полагая, что это брат, он хотел было броситься ему навстречу, но удержался и прижался к тесу. Отряхиваясь от дождя, в сарай вошло несколько человек плотников и, расположившись около входа на земле, вынули из-за пазухи небольшие узелки, развязали их и стали полдничать. Ломти черного хлеба и соленые огурцы, за которые с аппетитом принялись они, приковали внимание Семена. Облизываясь и глотая выступавшие слюны, он, как голодная собака, следил с полуголым ртом, как принявшиеся плотники, выкусывая правильные полукруги, уничтожали хлеб, и ему хотелось броситься и отнять его у них, пока не поздно. Но не только это, но и попросить не смел, боясь обнаружить свое присутствие, и ограничился лишь желанием, чтобы оставили или забыли чего-нибудь... А те, не подозревая ничего, ели себе, да ели. Но полдник недолго продолжался, скоро чваканье прекратилось, и плотники, не оставив ничего, набожно перекрестившись, вышли из сарая. Только один из них, торопясь за товарищами, бросил на землю недоеденный огурец. Семен заметил это, и лишь только они вышли, — он спрыгнул с теса и как акула проглотил его, потом посмотрел еще, не осталось ли чего, но не найдя ни одной крошки, уныло отошел и опять стал дожидаться брата. Нетерпение его с каждой минутой все сильнее и сильнее возрастало, он уже начал сомневаться в приходе брата и предполагать, что и как могло задержать его, однако окончательно надежды не терял.

Но прошло еще несколько часов. Сумерки спустились и черным покрывалом покрыли землю. В сарае так сделалось темно, что Семен не только окружающие предметы, но и себя не мог уж разглядеть. Все линии, отделяющие его от воздуха, исчезли, он как

будто растворился в бездне непроглядной темноты и повис в ее пространстве. Пугливо озираясь и плотнее прижимаясь к тесу, он силился хоть что бы разглядеть, но глаза, не находя на чем остановиться, всюду встречали один и тот же мрак, который давил и застилал их. Голод мучительно сжимал желудок, что-то резало и горело там, к нему еще присоединилось чувство страха, а брата все нет и не было. Шарканье пилы и стук топора замолкли за сараем, а это означало, что плотники кончили дневную работу, и действительно — скоро на фабрике послышались свистки. Теперь нелепо было дожидаться брата, но что же делать? Не умирать же с голоду. «Э, да пуцай колотит!» — решил Семен и, ощупью выйдя из сарая, пошел домой.

Ведущая к дому улица так же, как и утром, была переполнена народом, рабочие более веселыми возвращались с работы, смех и шум чаще раздавались между ними. Около непроходимых луж они сгруппировались и, нащупывая где пройти, хватали и толкали зазевавшихся туда. Особенно это часто и вольно применялось к девушкам, а также не спускали мальчикам-подросткам. Однажды и Семен оказался в числе таких, но это несколько не рассеяло его, он давно уж шел с рабочими и больше не боялся встретиться с знакомыми, которые, как думал он, могли рассказать отцу об укрывательстве его. Теперь он сам, гонимый голодом, покорно шел к нему. Но чем больше приближался к дому, тем тяжелее становилось на душе. Неизбежные и страшные побои, как неуловимый призрак, стояли перед ним. Ужас охватил все существо его, которое волновалось и протестовало против добровольного подчинения ожидаемым побоям. Он бранил себя и раскаивался, что утром забоялся итти домой. «Ну што бы было?» — думал он, — ничево. Побил-побил, да ведь отстал бы, а теперь лежал бы сытый на полатах, зря, совсем зря не пошел. Вот погоди сейчас што будет... и за дело дураку, — словно впервые испугался. Так вот отделывайся теперь за это».

Но вот и дом. Тихо отворив калитку, Семен осторожно, точно вор, направился к маленькому двухоконному домишку, который стоял за сараями в глубине двора. Прежде чем являться в дом, он решил сначала посмотреть в окно, что делает отец, но не успел и подойти, как замер и остановился. Отчаянные вопли, доносившиеся из дома, как обухом ударили его. Что это? Скорее инстинктивно, чем сознательно, он как змея подполз к низко расположенным окнам — и что же увидал там сквозь худую юбку, заманявшую занавесь? Посреди избы перед сбитой на колени матерью стоял озверелый отец и, крепко намотав на руку косы ее и прижимая к полу голову, бил ее по выгнутой спине, как молотом, здоровым кулаком. Братишка с разорванной рубашкой стоял около печки и ревел, а также и ребенок, валявшийся на полу; другие ребятишки, прижавшись друг к другу, сидели на полатах и молчали.

— Сказывай, чорт, ты спрятала его? — кричал отец, продолжая работать кулаком.

— Батюшка, Кузьма Андреич, с места не сойти, не знаю где. Не приходил, совсем не приходил. Сказала бы, — вопила мать.

— Врешь, не поверю. А Ванька-то куда пошел?

— Не знаю, провалиться — не знаю. Гулять, чай, куда же больше.

— С хлебом-то гулять? Что ты, дурака нашла обманывать? Врешь, сука поганая, не обманешь. Все утайки выбью из тебя! — Он, приподняв ее и заломив голову назад, размахнулся кулаком и закричал: — Скажешь али нет? Говори, пока цела!

— Ей богу, сказала бы, Кузьма Андреич, кабы знала, так сама своими ногами бы сходила за ним непутным, — не знаю.

— А, опять ты за свое. Так вот, вот тебе, — отец со всего размаха начал молотить ее по лицу.

— Ой! — протяжно и больно застонала мать, закрывая лицо руками. Кровь из носа, изо рта хлынула у нее. Она брызгала и захлебывалась ею. А отец в иступленном бешенстве еще сильнее колотил ее. Братишка не вытерпел и вцепился зубами за ногу ему. Отец, должно быть от боли, вспомнил и, откинув к порогу, как колоду, мать, яростно набросился на него, но мать тут же вскочила и бросилась защищать. Сцена принимала ужасающий характер. Семен отшатнулся от окна и, стукнув кулаком по раме, убежал.

Долго он бродил по городу. Страшная картина со всеми подробностями запечатлелась в голове... раздирающие вопли матери, и он все еще как будто прислушивался и глядел на них, иногда, точно просыпаясь от тяжелого кошмара, он останавливался перед фонарями и, застыв на несколько минут, тупо, как баран, смотрел на мигающие лампы; потом, опуская глаза и погружаясь в думы, снова механически шагал, направляясь все дальше и дальше в сторону от дома. Вдруг, точно вспоминая о чем-то, круто поворачивался и шел назад, но, пройдя немного, вставал и опять возвращался.

Так, пройдя по улицам, он часто по самые колени забирался в грязь, а то как слепой упирался в глухой забор, шупал его и, убедившись, что дальше некуда, равнодушно отходил и шел все также куда глаза глядят. На опустелых улицах не встречалось никого. Все от мала до велика пряталось от дождливой и холодной погоды по домам. В окнах мало-по-малу потухали огоньки. Ночь призывала на отдых, и город погружался в сон. Порой откуда-то доносилось дребезжание пролетки, но потом опять все стихало, только дождик глухо шумел по крышам, да ветер дул по-прежнему. Полицейские и те не делали обычного обхода, а, закутавшись в плащи, как конусообразные камни, стояли под навесами.

Семен после продолжительного скитания по улицам очутился

далеко от города. Дождик до костей промочил его. Струящаяся по спине вода, как иглами, колола тело. Он посинел и дрожал от холода. Тяжело переводя дыхание, он остановился наконец и, как бы придя в себя, оглянулся по сторонам. Крутом было пусто и темно, только немного в стороне чернело что-то на подобие громадной кучи. Он заметил это — и направился туда. Оказалось, что это стоит большая соломенная рига, в которую, не думая ни минуты, он вошел и, кинувшись на солому, свернулся калачиком на ней. Озябшее и страшно измученное тело приятно заняло и начало отогреваться здесь. Но это состояние недолго продолжалось; скоро забытый было голод опять почувствовался в животе и сильнее прежнего стал мучить.

Где-то слышались голоса. Семен зарылся в солому и прислушался. Разговаривали на воле, недалеко от риги. Отдельные слова все яснее и яснее доносились, очевидно, разговаривающие приближались сюда. И действительно, через несколько минут около двери слышались шаги, и, судя по голосам, в ригу вошла целая толпа. Пришедшие, как видно, не случайно зашли сюда, а хорошо были знакомы с расположением риги, потому что свободно ходили в темноте и чего-то искали. Но вот кто-то засветил свечу и, подняв над головой, осветил кругом, свет упал и на Семена...

— Ребята! — закричал кто-то, увидев его, — да ведь квартирант у нас!

— Но? где? кто? — слышались голоса...

— Да вот лежит какой-то оголец, — говорил смуглый длинноволосый парень, подходя к Семену.

Все столпились и разглядывали его с любопытством. Он тоже, приподнявшись на руках, испуганно глядел на них. Все это были какие-то грязные и полупьяные, старые и молодые оборванцы, которые, должно быть, не имея крова, явились ночевать сюда.

— Кто ты? Зачем сюда пришел? — спрашивал все тот же парень.

— Да я так, озяб, отдохнуть пришел. — прошептал Семен.

— А ну, ладно, а квартиры разве не имеешь?

— Нет, имею, только нельзя мне — отдуют меня.

— Во как, — как будто удивился парень, опускаясь возле него и втыкая свечу в поданную ему пустую бутылку.

— За что же это? С батькой что ли не поладил?

— Да расчет мне отдали.

— А, вон что, так что же — прогнал он тебя?

— Нет, не прогнал, я сам не пошел, а то избьет он меня.

— О, да ты, я вижу, из молодцов мальчишка-то! На зубы пальца не кладешь. Это хорошо, так и следует с ними, старыми чертями. Значит, с нами будешь?

— А вы пошто сюда пришли? — спросил ободренный Семен.

— Мы? Да нам тоже отдали расчет, так вот с горя-то и зашли сюда выпить. Хочешь и тебя угостим заодно?

— Нет, спасибо, я не пью.

— Как «не пью»? Пустяки, не бойся, не узнает батька-то.

Между тем, как парень разговаривал с Семеном, остальные, расположившись кругом на земле, вытащили из карманов несколько бутылок водки, черный и белый хлеб и полную фуражку яблоков, потом, сложив все это посередине, вытащили колоду карт и принялись за водку. При виде хлеба — снова захотелось есть, и он невольно, точно заколдованный, воззрелся на него. А парень наполнил чайную чашку водкой, сначала выпил сам, потом ее же, наполненную до краев, предложил ему.

— Держи, — сказал он, подавая чашку, — не ломайся — не у тещи ведь в гостях.

— Да я, право, не пью. Мне бы хлеба вот маленько.

— А вот выпей прежде, а потом и закусьвай. Ну, держи что ли, не задерживай, другие ждут.

Семен испугался возвышенного голоса и торопливо принял чашку, поднес было ко рту, но отвратительный запах водки оттолкнул его.

— Ну, ну, чего заморщился. Валяй до дна.

Семен послушался и, скрепясь, что было силы, выпил чашку, но только лишь отнял ее от рта, как страшно закашлялся и задохся.

Все обернулись на него и захохотали.

— Эх, ты, кобель неотесанный, — смеялся парень, подавая ему яблоко, — на вот, закуси. Да разве так пьют? Ты вот смотри, ну-ка, «Ноготь», покажи ему.

«Ноготь» был такой же, как и Семен, мальчишка, на вид даже моложе его казался. Он оскалил обезьянью мордочку и, бросив карты, в которые играл, взяв поданную чашку, встал против Семена и залпом осушил ее.

— Во, видал, как наши-то? — проговорил парень, вновь наливая чашку. — А ну-ка, ты теперь попробуй так.

— Будет, — сказал Семен, но встретя неумолимый взгляд, взял и выпил так же, как и «Ноготь».

— Вот это так, это понимаю я, — произнес довольный парень.

Он отодвинулся от Семена и, втиснувшись в кружок, принялся за карты. Семен же, робко, боясь как бы не окрикнули его, достал ломоть хлеба и, стоя в сторону, с жадностью принялся за него. Но выпитая им водка отогревала и развязывала его: он оживился по мере опьянения, уже меньше начал стесняться, от чашки, ходившей по очереди по рукам, не отказывался больше и, как бы хвастаясь перед другими, опрокидывал ее до дна. Его поощряли и хвалили за это.

Через некоторое время он со сдвинутой на затылок фуражкой и с папиросой в зубах бессмысленно болтал и, забыв все пере-

житое за день, весело смеялся. А парню должно быть надоели карты, он бросил игру и, что-то пошептав на ухо «Ногтю», опять подсел к Семену.

— Ну, как, земляк, дела-то, сидишь? — проговорил он, хлопая по плечу его.

— Да што же, все одно мне, — подымая помутившиеся глаза, ответил тот.

— Все одно... А в картишки не сыграем?

— Нет, не могу, не умею я, а то сыграл бы.

— Да ну-те. Батки чай боишься?

— Я? Ничуть. Вот на столько не боюсь. На што он мне? Погоди, я еще ему доставлю. Узнает он меня.

— О! Вон ты какой. Я ведь и не знал. Только хвастаешь наверно, не верится мне что-то. Ну-ка, смойся вон на этого, — парень указал на «Ногтя». — Любака, докажи, что ты не трус.

— Да што мне с ним, кабы ругался я...

— А, вот и ослабли гайки-то, а еще я, я. Ну, а ты как «Ноготь»?

— Что? С ним хоть сейчас давай, — ответил «Ноготь». — Много ли ему, разине, надо — ударил пальцем и дух вон.

— Давай! — вскакивая, закричал Семен, — погоди хвалиться-то, увидим, кто кого сильнее. — Шатаясь и поправляя на ходу фуражку, он отошел в сторону и встал в боевую позицию. «Ноготь» тоже приготовился. Все оставили карты, повскакали с мест, с любопытством тесно окружили их.

— Ну, вот что: не хвататься, чур, и влежачую не бить, — сказал парень.

— Ладно, ладно, я не буду, — ответил Семен. — Но, налетай што ли, чего стоишь, — закричал он «Ногтю», плюя в кулак и боком, как петух, подвигался вперед.

— Валяй, валяй! Мы налетим, ты вот налетай, — говорил тот, ловко уклоняясь от нападавшего противника. — Ну, ну, налетай, чево как баба машешь, — и вдруг, улучив удобный момент, он как бы кинулся головой вперед, причем так ударил его в грудь, что тот, отшатнувшись шага на три, немного не упал назад.

Громкий пьяный хохот, раздавшийся кругом, сильнее возбудил его. Он покраснел от злости и с сверкающими глазами, насколько не придя в себя, напролом бросился на «Ногтя».

— Ага! — кричал он, размахивая кулаками, — знаю я теперь тебя, — не обманешь больше...

Но тот, прыгая и присядая, извивался около него и ни одного удара не позволял нанести себе, и наконец, видя, что противник не так уж страшен, как думал раньше, перестал увертываться и сам перешел в наступление. Они сцепились — и точно кочетья начали таскаться. Меткие и частые удары так и сыпались на опьяневшего Семена; от него, как говорится, только пух летел. Шатаясь из стороны в сторону, он еле держался на ногах, и каждый

раз, желая ударить со всего размаха «Ногтя», промахивался и падал. Зрители хохотали от удовольствия и, науськивая, подталкивали их друг на друга.

— Ноготь! Ноготь! — кричали они, — ай, да Ноготь!

— В рыло-то, в рыло-то ему вали.

— Так! Здорово!

«Ноготь» ловко подставил ногу, так ударил по лицу Семена, что тот как плаха, сильно ударившись затылком, растянулся на земле. Сгоряча он опять хотел было встать, но, немного приподнявшись, потерял равновесие и снова упал. Хмель перевесил его, у него закружилась голова и началась страшная, мучительная рвота, а через несколько минут, раскинувшись тут же, где упал, спал глубоким непробудным сном.

Серые полосы света давно уже пробивались в ригу сквозь худые соломенные стены, но тем не менее, здесь все еще царствовал полумрак и только около полуоткрытой двери было посветлее, где прямо на сырой земле, скорчившись в неестественную позу и с бледным, как у мертвеца лицом, все еще спал Семен. Он несколько раз уже просыпался, но, повернувшись с боку на бок и подогнув под пальтишко ноги, снова засыпал... И снова ему начинал видаться один и тот же сон, что будто бы он, забравшись по пояс в рыхлую грязь какого-то болота, бьется и не может выбраться из нее, ищет, за что бы ухватиться — не находит, силится кричать на помощь — не кричится, а грязь все глубже и глубже засасывает его... Вдруг, покрывшись инеем, она начинает замерзать и так замерзать, что трескаться стала от мороза, и вместе с ней — и кожа на ногах... Семен точно ужаленный вскочил; он на самом деле почувствовал невыносимую боль в ногах, больше не вытерпел, проснулся.

— Что это, что это? господи боже, да где я?

Бормотал он изумленно, озираясь по сторонам. Но лишь только очнулся от кошмара, как замер и остолбенел. Ноги, совершенно посиневшие от холода, оказались голыми, — сапоги исчезли, а вместо них недалеко от него валялись грязные большие опорки. Он за карман, — денег тоже не было. Как бы не веря ужасному событию, думая, что это только пошутили с ним, он обегал темные углы в уверенности найти кого-нибудь, но в риге не было никого, ночные посетители так же, как и сапоги, исчезли, только оставленные опорки свидетельствовали об их посещении.

Семен словно на омерзительную жабу посмотрел на них и, подумав, что это оставлено ему, закрыл лицо и как подкошенный повалился на землю. Он вспомнил про вчерашнюю попойку и провинно избитую мать из-за него; и ему сразу представилось, что все, что связывало его с домом, теперь оборвалось, что больше нет ему туда возврата. Мать, семья, возможность поступить работать и все, что было дорого ему, невозвратно покинули его и отошли куда-то, а он, одинокий, беспомощный, как бесприютный

сирота, оставлен на произвол судьбы, все силы которой точно сознательно ополчились на него.

— Господи! Мать пресвятая богородица. Да што же это? — взмолился он, хотел было заплакать, но голова так болела, что больше ни одного звука не мог произнести. В ней точно все содержимое расплавилось в жидкую тяжеловесную массу, которая при малейшем колебании колыхалась там, давила и распирала череп. Глаза вылезли из орбит и кажется совсем готовы были выскочить, да и не только голова, а весь он, пролежавши продолжительное время на сырой земле, чувствовал себя точно как вареным. В груди хрипело и обрывалось что-то, бока точно заостренным колом кололо, руки тряслись и как плети бессильно опускались каждый раз, когда хотел застегнуть расстегнувшиеся пуговицы.

Внутренности, отравленные водкой, горели и просили пить, но лишь только нагбался он над лужей, стоящей недалеко от него, как страшно начинало рвать, а так как в желудке не осталось ничего, то он как рыба, разевая рот, лишь давился и хватался за живот, из которого так и выворачивало внутренности наружу. И так до самого вечера здесь промучился Семен.

Когда стемнело, он забоялся дальше оставаться в риге и, скрепя сердце, насунул как лыжи на ноги опорки и тихо поплелся к городу. Мотаясь и тяжело передвигая неуклюжие опорки, которые поминутно сваливались с ног, он спотыкался почти на каждом шагу, скоро уставал и садился отдыхать, но дождик и пронизывающий ветер погоняли и не давали отдохнуть; посидев немного, он снова подымался и направлялся дальше.

Дойдя до города и обессилев до последней степени, он сел на первую попавшуюся лавочку и хотел было прилечь, но кто-то, приняв его за пьяного бродягу, прогнал с лавочки и даже по шее пригрозил вослед. В другом же месте, под навесом какого-то лабаза, где он укрылся от дождя, сторож и предупреждать не стал: подкравшись незаметно, сначала только отколотил метлой, потом схватил за шиворот, повел было в полицию, но ограничился лишь тем, что, дав на дорогу несколько пинков, направил собаку, которая целый квартал прсвожала и рвала его. После этих неудач он уже не пытался больше куда-нибудь укрыться, а сбитый совершенно с толку, метался из одной улицы в другую, как будто потерял и теперь искал кого-то. Разорванные полы его пальтишка, словно подбитые крылья птицы, волочились за ним, и вообще он походил на раненую птицу, которая, лишившись возможности летать, тщетно старается укрыться от врагов своих, и чем дальше остается на виду, тем больше привлекает их внимание. Прохожие, при встрече с ним, брезгливо сторонились от него и подозрительно косились, пока он не пройдет, очевидно боясь, чтобы не нарушил их невозмутимого спокойствия.

Но лишь только останавливался он где-нибудь на ступеньках



крыльца или на лавочке, чтобы отдохнуть, как около него вдруг образовывалась целая куча любопытных, которые бесцеремонно, словно неодушевленный предмет, рассматривали его, а он, как пойманный зверек, тоскливо и боязливо озирался кругом с очевидным намерением поскорее уйти от них. Так в изнеможении он опустился на ступеньки крыльца какого-то небогатого домишка, где в тиши, не видя никого поблизости и защищенный от холодного дождя, он хотел было прилечь, но только что склонился, как услышал над собой голос:

— Эй, молодец, ты что тут?

Семен поднял голову и увидел перед собой темную фигуру рабочего. Мягкий, добродушный голос рабочего, каким тот окрикнул его, вызвал в нем страшное желание горькой жалобы, и он, собрав последние силы, стал жаловаться, но боже, что это за жалоба? Вместо нормального звонкого голоса из его груди стал вырываться какой-то шипящий хрип, похожий на шарканье по дощам об асфальтовую мостовую.

— Дядек, — зашипел он, — расчет у меня украли и сапоги новые, — куда я теперь денусь? Дяденька миленький, чево мне делать-то?

Но, испугавшись своего же голоса и видя, что его не понимают, он опустил голову и круто замолчал. Но рабочий, сообразив должно быть, что это не обыкновенный уличный мальчишка, заинтересовался им.

— Что ты, что ты пыхтишь? Говори шибче, захворал что ли? — спрашивал рабочий, наклоняясь вплоть к его лицу.

— Расчет у меня украли, дяденька, и сапоги, — повторил Семен, утирая слезы.

— Да ты пьяный! — отступая, воскликнул рабочий. — А я гляжу, что лежит, думал занемог, — продолжал он, обращаясь к успевшей уже собраться вокруг них публике, — а от него, как от бочки, вином разит.

— Да что вы с ним толкуете, — послышался голос из толпы, — позовите полицейского — тот мигом определит, куда следует ему...

— В самом деле, молодец, — добродушно проговорил рабочий, — ты того, убирайся отсюда, а то, кто тебя знает, не случилось бы чего.

Но Семен уже не слушал его и при упоминании о полицейском, с именем которого его воображение всегда связывало какое-нибудь несчастье, он вырвался из толпы и, громко шлепая тяжелыми опорками о тротуар, побежал дальше. Так пробродив до позднего вечера по городу, Семен помимо своей воли, словно повинувшись какому-то магниту, робко и тихо подошел к своему родному дому. Ему давно сюда хотелось и страшно хотелось хоть издали посмотреть на мать и братьев, а если не на них, то хоть на место, где они живут, но боялся отца. Он всю жизнь его боялся, теперь же

больше чем боялся: какой-то леденящий ужас охватывал его при мысли об отце, от которого он положительно цепенел.

Раньше тоже с ним случались беды, как например, разбить стекло или изорвать новую рубашку, и тоже приходилось трепетать перед наказанием отца, но он знал тогда, что если мать не сумеет или не захочет скрывать беду, то отец только побьет, потом забудет, и все пойдет по старому. Но что было то в сравнении с настоящим! Теперь ни мать не может скрыть, да и невозможно этого, ни отец побоями не поправит дела и всю жизнь он будет колотить его, да и кто знает, что еще сделает с ним отец, и никто не станет заступаться. Даже мать и та наверное отступится от него, он себя и всю семью сделал несчастными, несчастными непоправимо.

С такими тяжелыми размышлениями Семен подошел к дому, от которого они же и отталкивали его, но чувство привязанности к самому месту и любовь к матери и братьям побороли все — и он пришел. Было уже довольно поздно. В доме не было огня. Кругом царствовала такая темнота, что маленький домишко, вернее баню, переделанную предприимчивым владельцем в жилище для людей, не только видеть, но и отличить от земли было невозможно, лишь по стеклам в окнах, в которых отражался красноватый отблеск отдаленного фонаря, можно было догадаться, что тут за сараем в углу двора имеется что-то, но что? — то уже дополняло воображение Семена, даже слишком может быть. Он как увидал, что в доме нет огня, который из-за грудного ребенка обычно не гасился на всю ночь, так и похолодел. Это значит, что отец сегодня вечером дрался и наверное из-за него, а когда избил чуть не до единого все семейство, то еще в порыве ярости погасил огонь, как это раньше делал, вероятно стыдясь соседей, потом приказал немедленно всем замолчать и тут же прямо без ужина ложиться спать, после чего и сам, тоже молча, как туча грозовая, забирался на печь, и в доме водворялась мертвая неестественная тишина, лишь изредка нарушаемая подавленным всхлипыванием кого-нибудь из братьев.

Чем-то холодным, пробовым повеяло на Семена от дома, окна которого как-то зловеще и загадочно глядели из темноты, словно гневались на него, как на виновника того, что произошло там, за этими ветхими стенами. И вот то придавленное настроение, висящее, как божье проклятие над всей семьей, он и представил себе, — представил именно так, как самому не раз на себе приходилось испытать. Вот рисует его воображение: вот тут, всего лишь за этой стеной в непроглядной, как в подвале, темноте, на голом и холодном полу лежит его избитая и вся истерзанная мать, а около нее, прижимаясь друг к другу и дрожа от холода, лежат его, тоже избитые, братишки. Все они, как только отец погасил огонь и приказал ложиться спать, так прямо, кто в чем был и кто где стоял, тут же и повалились, только потом уж тихо, как кроты,

сползались один за другим к матери, которая обычно ложилась около колыбели. И теперь чутко прислушиваясь к тяжелому дыханию отца, который грозно ворочается на печи, терпеливо дожидаются, когда успокоится и заснет он, тогда, Семен знает, маленькие братишки не вытерпят и затаянут на ухо матери: «Мама, поесть хочется», — а пока молчат даже самые маленькие, должно быть понимая, что стоит только шикнуть, как бушующая буря в груди отца проснется и опять загремит над головами их. Один лишь грудной ребенок не понимает этого и, не видя в потемках матери, плачет и теребит ее за грудь, но к этому настолько все привыкли, что как будто и не слышат его совсем, только когда уж больно раскричится, мать прикрикнет на него, вторя общему тону настроения: «Ну, да чево тебе сердешному?» И так все лежат вот таким образом сейчас и думают, упорно думают про него, Семена, стараясь разгадать, где и что делает он? И наверно проклинают: вот, дескать, баловник, забоялся, не пришел, а теперь вот принимай разные мучения. «Да, знамо принимают, как же, ведь из-за меня все...» — думал Семен. «Но, господи, — мысленно простонал он, ведь они не знают, что у меня расчет и сапоги украли, а кабы знали, ну что, что тогда сказали бы? что сказал бы отец? Ведь правду проклянет и выгонит из дому. А може уж узнал как-нибудь? И теперь вот нарочно задул и огонь, чтобы видел это я, что меня не ждут уж больше, что я не нужен им. Да и правда, куда я им теперь. Хлеб только лишний буду есть. А ежели и пустят, так завтра же отец собирать погонит».

И вот расстроенное воображение Семена с поразительной ясностью нарисовало картину, как завтра утром, в то время, когда он обычно уходил в контору на занятия, пойдет с большой белой корзиной за плечами и вот в этих самых опорках по знакомым улицам просить Христа-ради милостыню, как будет, переходя от одного дома к другому, останавливаться под окнами и с обнаженной головой просить тоненьким голоском: «Подайте милостыньку Христа-ради». А после этого, как протянется из окошка рука с милостыней и как он, нараспев проговорив «принял, матушка, Христа-ради», примет ее, положит в корзину, покроет ее, чтобы не мочил дождик, тем самым платочком красным с желтыми цветочками, в который братишка завязывал книжки. Потом поплетется к другому дому, — и так без конца. А сзади его соберутся знакомые уличные мальчишки и с хохотом, дергая за корзинку, будут бежать за ним каждый раз, когда он будет останавливаться под окошками и тянуть печальное Христа-ради. Они тоже хором, подражая его просительному голосу, будут подтипывать ему, но не все слова, а только последние, и не Христа-ради будут выговаривать, а для пушего смеха: та-та-та ради.

И вот Семен видит их задорные, смеющиеся лица, выжидающие момента, чтобы грянуть на всю улицу следом за ним: та-та-та ради.

— Нет, нет, этого не будет, никогда не будет, — прохрипел он, дико озираясь по сторонам, как будто бы уже готовясь нападать на этих тиранов своего позора. — Но, господи, что же, что же будет? Неужд висправду пойду собирать?

До сих пор хоть отец и нередко грозил прогнать его слепых водить, однако он никогда не верил, что ему на самом деле придется когда испытать такой позор. Нет, он и представить себя не мог в таком унизительном положении, уж одну угрозу считал для себя за самое худшее оскорбление и если когда и думал о ней, то только лишь как об оскорблении, смысл которого вовсе не касается его. Да и отец, как был уверен он, никогда не считал свою угрозу серьезной, а так, зная, как глубоко задевает сына за больное место, при случае нарочно повторяя ее, чтобы тем самым сильнее припугнуть его и показать что он, отец, все может сделать с ним; но Семен хоть и пугался, но все-таки не верил этому. Теперь же он считал это неизбежным, как бы уже окончательно решенным фактом. Стоит только надеть корзину и итти.

— Так нет же, нет. Этого никогда не будет, — энергичнее повторил Семен, — лучше с голоду умру али замерзну где-нибудь, а никогда не пойду собирать, — и круто повернув, он вторично ушел от дома и на этот раз уже с твердым решением навсегда.

Это последнее решение, так сильно вырвавшееся в его последних словах, на некоторое время настолько воодушевило и придало ему силы, что можно было подумать, видя с какой поспешностью и деловитостью шел он по улице, что его вот сейчас послали с очень важным и опасным поручением, и он довольный и преисполненный сознанием собственного достоинства, не без некоторого трепета, идет исполнять его.

Но такое приподнятое состояние недолго продолжалось. Лишь только дошел он до конца улицы, выходящей на обширную базарную площадь, как невольно спросил себя, останавливаясь на несколько минут за углом крайнего дома: «Ну, а теперь куды?» — а так как на этот вопрос у него ничего определенного не имелось, то он сразу опустился и тут только как следует почувствовал, что он совершенно теперь один, а перед ним в образе осенней черной ночи страшная, необъятная неизвестность будущего, с которой он, в силу необходимости, принужден вступить в борьбу без опыта и руководителя, а также почувствовал и то, что сломит его эта холодная и безжалостная сила, не зная лишь, где и как, но узнал, что не справится он с ней и на первом же шагу погибнет, и что ни делай, а уж не обойдешь ее. Но делать нечего. Поздно отступать, да и отступать-то некуда. Так не все ж равно куда итти: влево, вправо — везде плохо одинаково. И чтобы только не стоять на месте, Семен все также без цели и надежды двинулся вперед по площади навстречу неизвестности.

А погода изменилась, между тем, но не к лучшему, а, как и следовало ожидать, — к худшему. Ветер, еще с вечера повернувшийся с севера, к ночи так разбушевался, что как-то жутко

становилось перед его грозными непрерывными порывами, который, обдавая все брызгами холодного дождя и мокрым снегом, с оглушительным шумом стремился над городом, где, точно в ожидании собственной гибели, все оцепенело и затихло, только железные крыши глухо стонали и охали, да ставни, кое-где сорвавшиеся с петель, отчаянно визжали и бились о стены в каждом порыве ветра, который так и казалось вот: еще порыв — и прахом разнесет все.

И вот в такую-то страшную ночь и суждено было Семену покинуть дом. Он как высунулся из-за угла, то так и отшатнулся под свирепым порывом ветра, который словно поджидал его, и, как бы негодую на его дерзость, так ударил ему в лицо, что оба глаза залепил ему мокрым снегом. Но это несколько не смутило Семена, наоборот, это только подзадорило его. Торопливо протерев глаза и низко наклонив голову вперед, он как бы наперекор здравому рассудку двинулся прямо в ад разыгравшейся стихии.

Что-то дикое, почти безумное было в его усталых, но до чрезвычайности упрямых движениях. Казалось, не отчаяние, не желание уйти от самого себя влекло его с неустойчивой силой вперед, а жестокое желание бичевать себя.

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
—

TO THE EDITOR OF THE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE  
I have the honor to acknowledge the receipt of your  
copy of the issue containing the article by  
Dr. [Name] and Dr. [Name] on the synthesis of  
[Title of Article]. The work reported in this  
paper is of great interest and I am sure that  
it will be of value to the polymer science  
community. I am sure that your journal will  
continue to be a valuable source of information  
on this subject.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
В. Полторацкий. Лето. (Повесть) . . . . .	3
Т. Г. Шевченко. Заповедь. Тарасова ночь. Расти, расти, моя птичка. Ой, взгляну я, посмотрю я. И как за-подати вужда. Пророк. Сон. О, люди бедные, на что же. Переводы М. Бритова. Когда б вы знали, господа. Ту золотую, дорогую. Ой, одна я, одна. Переводы Д. Семёновскою. Мне безразлично, где ни жить. Для чего жениться буду. Юродивый. Переводы А. Благова. . . . .	39
М. Шошин. Дар. Надежда. Дорога. Светлый день. Спиридон Петрович. Пчелка. (Рассказы). . . . .	54
А. Благов. Песни. (Стихи). . . . .	86
Ев. Баранов. Гроза. Стихи. (Стихи). . . . .	92
Дм. Семеновский. Шота Руставели. Юрьевец. Состарилось лето. Земляничка пушистая сплошь. (Стихи). . . . .	94
М. Кочнев. Мать. Детство Лизаветы. Как Лизавету выдавали замуж. Воробейка. (Стихи). . . . .	98
Дм. Прокофьев. Алексей Шкаров. (Повесть. Книга вторая). . . . .	103
М. Дудин. Прощальная. Вот огонь сентября. (Стихи). . . . .	161
В. Курбатов. Встреча. Призывная. Песня ткачихи. В новогоднюю ночь. В Александровской слободе. (Стихи). . . . .	163
В. Кудрин. Охотник. Грушевый сад. Весенний луч. (Стихи). . . . .	170
М. Марков. Весенние стихи. Девичьи песни. (Стихи). . . . .	173
М. Садовский. На страже. (Стихи). . . . .	175
П. Гусев. Расчет. (Рассказ из рабочей жизни). . . . .	177

759

**Редакция—редколлегия.**

Союз советских писателей. Ивановский альманах. Книга третья. Ивановское областное государственное издательство. 1939 г. Индекс X—4-в. Изд. № 33.

\*

Редактор *Д. Г. Прокофьев*.  
Технический редактор *Ф. В. Жуков*.  
Корректоры *А. И. Макаров* и *Н. А. Смирнова*.  
Художник *И. Т. Колочков*.

\*

Сдано в набор 26—28/VI—1939 г. Подписано к печати 3/XI—13/XII—1939 г. Формат 60×92<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем: 6<sup>3</sup>/<sub>8</sub> бум. л., 12<sup>3</sup>/<sub>4</sub> печ. л., 14 уч.-изд. л., 47 824 тип. зн. Тираж 3000 экз.

\*

Уполномоченный Ивобллита  
№ 23344.

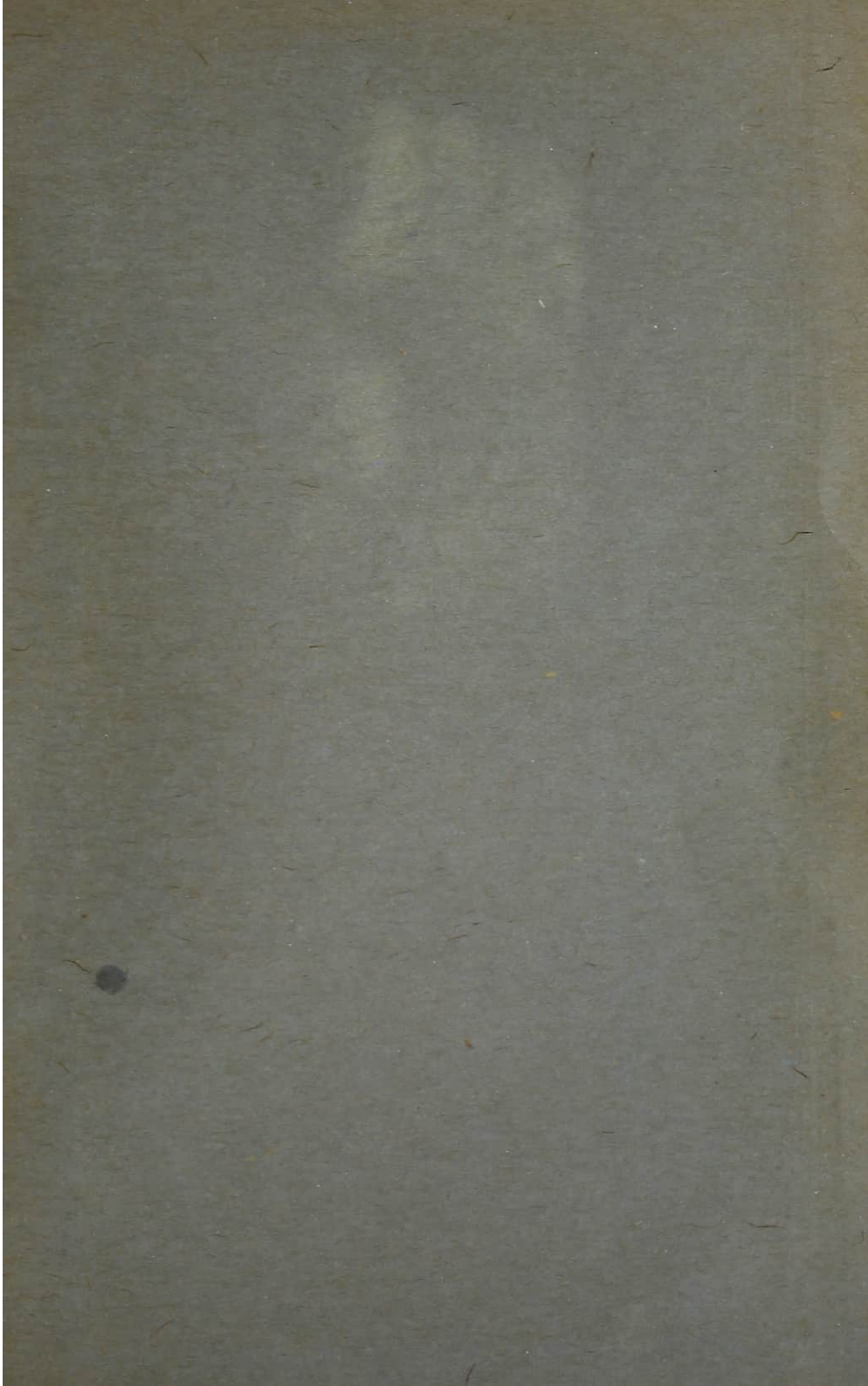
\*

Типография издательства Ивановского облисполкома, г. Иваново, Типографская, 4.

Заказ № 5881.

Цена 4 р. 70 коп. Переплет 1 р. 30 коп.





15753





Е. руг.

15753

